Подкова. Башня

фэнтези о ремесле и цене ошибки



Сергей Лозов

Сергей Лозов

Подкова. Башня

«Автор»
2026

Лозов С. Ю.

Подкова. Башня / С. Ю. Лозов — «Автор», 2026

Гоша был двоечником в нашем мире — а стал подмастерьем в мире, где воду носят вёдрами, а счёт ведут зарубками. Он не боец и не гений. Его сила в том, что он не стесняется задавать вопрос «а почему бы не так?» — тот самый, которого здесь боятся.Книга третья «Подкова»: сорванная подкова на броде — и подросток впервые кует сам. Берёт заказ, ошибается, платит и ставит своё имя на железо.Книга четвёртая «Башня»: деревня строит водокачку, а под башней кто-то стучит. Двадцать лет назад мастер, который мерил воду, исчез — но его счёт не прервался. Гоша находит полосу с девятью отверстиями: девятое недосверлено, его оставили тому, кто будет потом.Кузнец Гуннар учит ремеслу и молчит о своём. Пелагея двадцать лет поливает рожь, которой не наследила. Собака Кусака говорит правду, потому что собаке можно. А счёт — медяк за медяк, узел за узел — идёт всегда.Фэнтези о ремесле, цене ошибки и воде, которая умеет ждать.

© Лозов С. Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Книга третья. Подкова. Главы первая–двадцать седьмая 5
Глава вторая. Кривой обод 8
Глава третья. Верёвочка с узелками 10
Глава четвёртая. Восьмое отверстие 12
Глава пятая. Гвозди 15
Глава шестая. Гвоздь идёт вдоль 19
Глава седьмая. Ночной гость 23
Глава восьмая. Обрезанное серебро 26
Глава девятая. Сапог на пороге 30
Глава десятая. Сто подков 34
Глава одиннадцатая. Дед и свинец 38
Глава двенадцатая. Сход 41
Глава тринадцатая. Обрез и один воскресный день 44
Глава четырнадцатая. Пустая телега, четверг и люди, которые спрашивают 48
Глава пятнадцатая. Огонь на Гряде 52
Конец ознакомительного фрагмента. 54

Сергей Лозов
Подкова. Башня

Книга третья. Подкова. Главы первая–двадцать седьмая
Глава первая. Сорванная

Подкову сорвало на броде, и караван Прохора встал у ручья, как муха на смоле.

Я узнал об этом раньше, чем увидел телеги, — по Кусаке. Она заскребла лапами крыльцо и завыла так, как воет только на телегу, которая стоит, а не едет. Мальфрида высунулась из окна с половником наперевес.

— Гуннар! — крикнула она в дом. — Твоё железо поехало по броду пешком.

Гуннар вышел, потянулся — и потянулся не так. Спину ему прихватило позавчера, когда мы вдвоём тащили бревно на новые ворота: я тянул с конца, он с середины, и на середине бревно выиграло. Теперь он поворачивался к наковальне, и спина говорила своё. Он стоял, держась за поясницу, как человек, который несёт ведро с водой и уже понял, что не донесёт.

— Лопух, — сказал он. — Подковать придётся тебе.

— Меня? — спросил я. И между нами сразу пожалел, что голос сорвался: в моём мире за такой голос в мастерской выгоняют, а здесь за такой голос можно потерять заказ.

— Тебя. Спина не гнётся. Ступай к Прохору, посмотри, что там за беда. И смотри глазами кузнеца, а не глазами пугливого мальца: пугливый мальец видит коня, а кузнец видит обод.

Прохор стоял у ручья и смотрел на караванного коня, как смотрят на должника. Коня звали Бойка, он был рыжий, молодой, и держал левую переднюю ногу так, будто одолжил её у соседа. Возчик Сипко выковырял из копыта камень, а из-под камня — половину подковы. Другая половина осталась в копыте, загнувшаяся внутрь, как ложка в каше.

— Вот, — сказал Прохор и сунул мне железо. — На камне сорвалась. Сорвалась, заметь, не у чужого купца — у меня. Прежний кузнец ковал от души, а теперь душа твоя, как я понимаю.

— Гуннарова душа приболела спиной, — сказал я. — Ковать буду я.

— Сколько?

Я, между нами, сосчитал быстро, по-кузнецки: полоса железа на четыре подковы — три медяка, работа — медяк за ногу, итого семь. Но Прохор умел считать лучше меня, и я видел это по его лицу, как видишь по льду, где тонко.

— Пять, — сказал Прохор. — И медяк вперёд. Задаток — это не деньги. Задаток — это обязательство, которое ходит за тобой, пока не отработано.

— Медяк вперёд, — сказал я. — Пять на выходе. А железо чьё?

— Железо моё, из возка. И если испортишь полосу — полоса из твоих пяти.

— Стало быть, из моих четырёх, — сказал я. — Раз медяк у тебя.

— Умный, — сказал Прохор без радости. — За ум при караване не платят. За ум караван держится.

Прохор вынул медяк и положил мне в ладонь ребром — не просто так, ребром, чтобы я почувствовал вес. Купцы кладут деньги так, чтобы покупатель остался должен не деньгами, а неловкостью.

И тут из-за угла трактира выступил Тимоха, сын Селивана. Высокий, тонкий, с лицом человека, который всё слышал, но при тебе — ничего.

— Подковы, значит, срываются, — сказал он медленно. — А я слышал на мосту через Луньку плату подняли. За воз — три деньги, за всадника — одна. Возчики ропщут, а ропот, говорят, до цеха доходит.

— Что тебе надо, Тимоха? — спросил я.

— Мне? Ничего. — Он улыбнулся. — Я считаю вслух. Мимо меня не проходят. Мимо меня проходят с деньгами.

Тимоха вообще умел говорить так, что становилось ясно: он знает про твои дела больше тебя и продаст тебе это знание, но сначала подождёт, пока цена подрастёт. Я покупать не стал.

Копейку я встретил уже у кузницы. Он привёл Бойку, держа его под уздцы двумя руками, как держат не коня, а чужого младенца. Копейка — сын конюха Степана, толстый, добрый, и от того, что добрый, переживал за всех подряд, включая камни, о которые кони бьются.

— Он боится, — сказал Копейка про Бойку. — Он молодой. Он думает, что клещ его съест.

— Клещ его не съест, — сказал я.

— Вот и скажи это ему. Скажи ему. Меня он слушает, а тебя он слушает потом.

Бойка дрожал от одного вида клеща, как дрожит половник в руке у того, кто первый раз пробует на вкус горячее. Я, между нами, тоже дрожал — только снаружи, как положено кузнецу, а внутри всё выло. Оба боялись: конь — за себя, я — за работу.

Первое прикосновение клеща к копыту вышло хуже всех моих планов. Бойка дёрнул, я не удержал, и копыто ушло мне локтем в грудь, а я — в стену кузницы. Стена, к счастью, была бревенчатая, а я — мягкий. Кусака лайкнула — не на коня, на меня: собака комментирует честно.

— Не бойся, — сказал я Бойке. — Клещ не съест.

— Он не тебя боится, — сказал Копейка. — Он сам себя боится. Он молодой.

— Молодой конь — это который? — спросил я.

— Который ещё не знает, что камень не двигается. Он думает: ударил копытом — и камень отступит. Камень не отступает. Конь огорчается.

Гуннар в кузницу не пошёл. Лёг на лавку, и Мальфрида положила ему на спину тряпицу с горячей золой. Зола лежала на спине, а спина под золой злилась и не давала всплывать ни радости, ни силы.

— Не куй сегодня, — сказал Гуннар оттуда, из-под золы. — Считай. Пока не посчитал — не бей. Бить по счёту — ремесло. Бить по злости — порча.

Это я, между нами, записал про себя как первую сентенцию весны. Сентенции у Гуннара выходят по одной в день, и каждый раз, когда он их выдаёт, мне кажется, что он дал мне запасной ключ, а от какого замка — не сказал.

Ужин был хлебный: Мальфрида считала, между нами, не по дневному голоду, а по казне. Караван встал — а трактир без каравана это котёл без мяса, и Селиван переживает это так, что слышно через два двора.

— Сипко возчик сказал: срывается подкова — значит, кузнец плох, — сказала Мальфрида, разливая похлёбку. — Или дорога плоха. Или камень виноват. А по-моему, виноват всегда тот, кто дальше всех от ручья.

— Она про Прохора, — объяснил мне Гуннар. — Прохор дальше всех от ручья и ближе всех к деньгам.

Кусака за ужином села на мою первую полосу железа — я положил её остывать на лавку — и не встала, пока полоса не остыла. Потом поднялась, посмотрела на полосу так, как смотрит на пустую миску, и ушла к двери. Между нами, я начал понимать её язык с задержкой: она не грелась. Она проверяла. Тёплая полоса — куй, холодная — не тронь. У собаки счёт простой и безошибочный, и я бы многое отдал, чтобы мой счёт хоть раз был так же прост.

А потом я разобрал сорванную половину подковы, которую отдал мне Прохор. И заметил то, чего не должен был заметить.

В ободе, у самого края, стояло восьмое отверстие — мелкое, как от тонкого гвоздя. Оно было заварено. Гладко, чисто, железом по железу, без свинца и без опилок — так, как я в своей кузнецкой жизни ещё ничего не заваривал. Дедова подкова висела у нас на притолоке, и её заварку я знал наизусть: грубее, старше, с горбом по краю. Эта была другая. Не моложе — точнее. Из тех рук, что не бьют мимо.

Чужая рука. Не дедова и не моя. Кто-то в этом мире ковал с восемью отверстиями — и заваривал восьмое, чтобы никто не видел.

Я положил половину подковы на полку над горном — не к браку и не к годному, на ту третью полку, где лежит то, что учит, — и до полуночи, между нами, думал одно: если есть вторая рука, где она училась?

Крючок главы: утром Прохор позвал меня к возку и вынул из-под мешков вторую половину — и на ней, у зацепа, была свежая зарубка, которой вчера не было. Как будто кто-то ночью пересчитал и его подкову.

Глава вторая. Кривой обод

Утром я вынул полосу из возка Прохора и принёс в кузницу. Гуннар ещё лежал, спина под золой тихо злилась, и я, между нами, решил спорить со спиной наставника: сам, дескать, справлюсь.

— Нагрей и меряй, — сказал Гуннар из-под золы. — Меряй прежде удара.

— Я мерил вчера, — сказал я.

— Ты смотрел вчера. Смотреть — это не мерить. Смотрят глаза, а мерят руки.

Полоса была воловья, широкая, городская проковка, с клеймом цеха у края. Наше железо весит столько, сколько в нём железа, а это весило столько, сколько за ним стоит. Я затопил горн — один, без Гуннара, впервые с осени. Уголь взялся, полоса легла, и я начал гнуть подкову.

Здесь, между нами, и ждала меня первая беда, и я её не увидел. Я помнил из моего мира, что подкову гнут по ободу и что обод не круг, — но не помнил, как считать ширину полосы под вес коня. Пропорция была у меня в голове в виде картинки, а картинки не платят за ошибки. Я гнул на глаз. Зацеп вышел узким, пятки — широкими. Подкова смотрела честно, как смотрит иная шапка: вроде и на голове, а сидит криво.

— Ты бьёшь часто, — сказал Гуннар. Он встал в дверях, опираясь о косяк, и я в первый раз за утро услышал его голос без золы.

— Она не легла. Я правил.

— Править на глаз — это не чинить. Это ломать медленнее.

К обеду первая подкова была готова настолько, что я решился примерить. Копейка держал Бойку, я поднял ногу, приложил — и понял всё сразу. Подкова легла с зазором у пятки, в зацепе упёрлась, а по внешнему краю вышла за обод на толщину гвоздя. Живое копыто не прощает того, чего не прощает и бумага: либо ровно, либо никак.

И тут пришёл Прохор. Не один — с возчиками, с Сипко, со всей своей бирюлькой. Купцы смотрят работу всегда при публике: публичность — это их весы.

Он взял подкову из моих рук, приложил к копыту Бойки, снял, повернул, посмотрел на свет — как смотрят монету. Потом вернул мне.

— У меня хромает конь, — сказал он. — А у тебя хромают руки.

Ничего громче он не сказал. Между нами, это было громче всего. Возчики посмотрели на меня так, как смотрят на того, кто надул уже не раз. Я стоял с кривой подковой в руке, и подкова была тёплая — вся моя работа была в ней, и вся моя работа не подходила.

— Плата, — сказал Прохор. — Два медяка. Полосу испортил — вычет. Возок ждёт, дорога стоит дороже подков.

— Работа не годится, значит, и половины нет, — сказал я. Голос у меня держался, а внутри, между нами, всё шло ко дну, как идёт к дну сани, на которые навалили сверху.

— Два, — сказал Прохор. — Потому что полосу ты всё-таки не сжёг. Живое железо всегда можно перековать. Мёртвого коня перековать нельзя.

Он ушёл. Возчики ушли за ним. Копейка остался — из доброты, а доброта, между нами, в такие минуты стоит дороже платы.

— Они все видели, — сказал я.

— Все видели, — согласился Копейка. — Но они уйдут на Луньку, а подкова останется. Я бы не сказал, что это утешение. Я бы сказал, что это счёт: у одних дороги, а у тебя — железо.

Вечером Мальфрида налила мне похлёбку без сала. Сало в нашем доме полагалось по праздникам, а праздник, сказала она, отложен до подковы.

— Кривой обод — это не беда, — сказала она, когда я сел. — Беда — кривой счёт. Посчитал на глаз, а заплатил полосой. На глаз, лопух, платят все. Только одни платят деньгами,

а другие — репутацией, и деньги как-нибудь найдутся, а репутация, если свалилась, сама не поднимается.

Я съел похлёбку и пошёл к колодцу — умываться, а на самом деле, между нами, прятаться. У колодца стояла Пелагея с двумя вёдрами.

— Слышала, — сказала она.

— Неужели?

— Вся деревня слышала. У Прохора голоса на три двора. — Она поставила вёдра и посмотрела на меня. — Скажи мне, кузнец: ты бил молотом по коню или по своей обиде?

— По железу, — сказал я.

— По железу бьют с расчётом. А ты бил с обидой, я слышала из-за гряды — ритм сбился на восьмом ударе. Отцовский причёт стоит медяк, а я тебе скажу даром: железо слушает не силу. Железо слушает счёт.

— Откуда ты знаешь про счёт?

— Я живу у священника, — сказала Пелагея. — У нас весь дом на счёте: свечи, хлеб, грехи. Грехи тоже считают, просто не в медяках. — И протянула мне клочок бересты. — Возьми. Напиши, сколько тебе надо на подкову, и сколько у тебя есть. Считать на бересте честнее, чем в голове: береста не льстит.

Береста была тёплая от её руки. Я сунул её за пазуху и сказал что-то умное, а что — уже не помню, потому что, между нами, в пятнадцать лет умные слова у меня кончаются ровно на середине встречи.

Тимоха нашёл меня уже в сумерках, у крыльца трактира. Он сидел на завалинке, чистый, как будто весь день ничего не делал, а только тщательно это выполнял.

— Плохой день? — спросил он.

— Плохой день.

— Сочувствую. Хочешь — расскажу, как было бы хуже? — Он дождался кивка и наклонился. — Цех берёт плату за подкову, поставленную постороннему коню. Полмедяка с ноги, если работа за деньги. Старшина Ждан говорит: у кого подкова без клейма — тот ворует у цеха. Ты сейчас, лопух, поставил Бойке четыре ноги за пять медяков. По цеховому счёту это два медяка штрафа. Никто пока не считает. Пока.

— Ты откуда это знаешь?

— Я сын трактирщика. — Тимоха развёл руками. — У меня под столом сидит половина деревни, и половина деревни болтает. Я не вру. Я пересчитываю.

— И сколько ты хочешь за то, чтобы не пересчитывать вслух?

— Ничего. — Он встал, отряхнулся. — Я с другом за деньги не торгуюсь. Я торгуюсь с теми, кто не друг. Ты друг. Другие — нет.

И ушёл, оставив меня считать, что хуже: пустые руки или друга, у которого в рукаве два медяка чужого штрафа.

Кусака в этот вечер нашла мою кривую подкову на верстаке и лягнула её носом. Подкова упала на пол и прозвенела глухо. Собака посмотрела на меня сверху вниз — с высоты своего носа — и ушла спать. Между нами, я понял её без слов: она сказала то, что я сам себе вслух сказать не мог. Работа провалена не потому, что руки плохие. Руки,нормальные. Плохое — то, чего я не считал.

Крючок главы: перед сном я развернул пелагеину бересту и нарисовал на ней обод копыта — как запомнил. Пелагеина рука сверху добавила три слова: «А где числа?»

Глава третья. Верёвочка с узелками

Верёвочку с узелками я придумал утром, стоя перед горном с полосой, на которую уже поставил вычет. Придумал, как придумывают двоечники: не потому, что умный, а потому, что дважды платил за одно и то же.

Суть была простая, между нами, до стыда. Обод копыта не круг и не ровный — он шире в пятке, уже в зацепе, и живой. Глаз врёт. Верёвочка — не врёт: обвёл, затянул узелок там, где обод кончился, — и у тебя в руках не память, а счёт, который можно принести к наковальне.

Я взял пеньковую верёвочку, толщиной в мизинец, и пошёл к Бойке. Копейка держал его, как держат вёдра с водой через ручей: крепко и с молитвой.

— Это не клещ, — сказал я коню. — Это верёвочка.

— Он не различает, — сказал Копейка. — Он различает только намерение. У клеща намерение съесть, у верёвочки, я думаю, намерение тоже есть.

Обмер вышел за минуту. Обод, затянул узелок, снял — и понёс в кузницу, как несут не верёвку, а выручку. Гуннар лежал на лавке, спина уже гнулась через день, и смотрел, как я прикладываю узелок к полосе.

— Одно число, — сказал он.

— Одно верное число лучше, чем десять на глаз, — сказал я.

— Одно число — это вранье, которое однажды совпало. — Он сел, медленно, спина разрешила. — Копыто живое. К утру оно сухое и твёрдое, к вечеру — сытое и рыхлое от дороги и росы. Ты мерил утром? Меряй в обед и меряй вечером. Три числа — это уже не вранье. Это уже три свидетеля. Верёвка стоит грош, а хромой конь — коня.

Так и родилась моя мерка: утро, обед, вечер — три узелка, три числа. Я ходил к Бойке трижды в день, и Копейка ходил со мной все три раза, потому что, сказал он, «конь в обеденье сонный, его держать надо двумя».

К обеду первого же дня мерка сломалась. Не на копыте — в моих руках. Узелок съехал. Я обвёл обод, затянул, отнёс, приложил — а число с утра не сходилось с числом в обед на палец. Я перепроверил. Узелок стоял не там, где стоял утром: пенька тянулась. Верёвка, между нами, тоже живая: она пьёт влагу из воздуха и пухнет, как тесто, только тесто хоть ставят на видное место, а верёвка растёт у тебя за спиной.

Я искал эту верёвочку по двору полчаса. Она пропала. Кусака пропала вместе с ней — вернее, с ней пропала Кусака, а я искал по порядку: конюшня, сени, крыльцо, колодец. Нашёл я их вместе: Кусака сидела на завалинке, а верёвочка лежала у её лап — облизанная, с узелками, съехавшими от слюны на два пальца.

— Ты, — сказал я ей.

Кусака зевнула. Это было полное юридическое оправдание: у собаки нет вины, у собаки есть момент.

Пелагея нашла меня у колодца и без вопросов посмотрела на верёвочку.

— Узел съезжает, — сказала она. — А ты завяжи не петлёй — двойным узлом, и узелок протри воском. Воск у отца есть, церковный, свечной. Он держит пеньку, как держит дыхание.

— Ты в курсе подков?

— Я в курсе узлов. — Она взяла верёвочку, повязала на запястье и сняла одним движением. — Я дочь священника, а не глупая девка из моего круга, каких ты, поди, и не знал. У священника всё завязано: ризы, мешочки, души. Души, между нами, завязать труднее всего, потому что узел надо ставить самому.

— А ты как узел ставишь?

— Сначала считаю, на чём завязываю. — Она отдала верёвочку и ушла с вёдрами, а я стоял, между нами, и понимал, что получил от дочери священника больше, чем от старшины цеха, и стоит это — ноль медяков, и потому дороже всего.

Вечером я пришёл к Гуннару с тремя узелками — утро, обед, вечер — и тремя числами на бересте. Числа не сходились: обод с утра был уже на волос, к вечеру — шире. Я ждал, что Гуннар скажет: брак. А он взял бересту, посмотрел и положил обратно на наковальню.

— Значит, так и куй, — сказал он. — Возьмёшь вчерашний вечер — подкова будет узкой. Возьмёшь завтрашнее утро — широкой. Кузнец, между нами, куёт не по одному числу. Кузнец куёт по серёдке трёх.

— Это как?

— Как сесть на лавку, которая качается: не на край, не на другой край. Серёдка. Она всегда есть, если чисел три. Если число одно — сиди на земле, там не упадёшь.

Вторую полосу я купил у Гуннара не за деньги — в счёт своей будущей платы, и это было хуже денег: у чужого платишь и свободен, а у наставника платишь из своего же. Два медяка полоса, долг записан на бересте, и береста висит у горна, где её видят все. Долги в нашей деревне не прячут. Долг — это тоже счёт, и счёт, который не висит на виду, сходит на нет.

Полосу я гнул уже не на глаз. Я обводил узелком готовый гнут на каждом ударе — туда-сюда, как меряют пальто на покупателе. Молот бил реже, чем в первый день, а толку было больше: за день я перековал полосу в подкову, которая легла на копыто без зазора, а в пятке села так плотно, что Сипко, когда пришёл смотреть, приложил ладонь и погладил стык, как гладят стол, по которому прошёлся хороший столяр.

— А, — сказал он.

— Что «а»? — спросил я.

— Ничего. «А» — это когда возчик молчит, — сказал Сипко. — Молчание возчика дороже, чем крик.

Вечером пришёл Прохор. Посмотрел подкову, снял с копыта, поставил обратно — сам, без меня, что для купца почти клятва.

— Завтра — остальные три, — сказал он. — И я поднимаю плату обратно до пяти. Не за то, что стало лучше. За то, что перестало быть хуже.

— Это одна и та же вещь, — сказал я.

— Нет, — сказал Прохор. — Стало лучше — это везение. Перестало быть хуже — это ремесло. Первое я покупаю дёшево. Второе дорого, потому что на второе можно опереться.

Кусака в этот вечер принесла мне в зубах мою верёвочку — ту самую, облизанную, с воском. Она положила её ко мне на колени, села и смотрела, как смотрят кредитор. Между нами, у собаки есть такт: она вернула счёт, который отняла, и не объяснила, зачем отняла. И это, между нами, было самое честное поведение за весь день — честнее, чем у купца, который поднял плату не за добро, а за отсутствие зла.

Крючок главы: ночью на верёвочке с узелками я вырезал не три числа, а четыре. Четвёртый узелок был маленький, в самом хвосте, и резался он не для копыта. Он был для чужой руки, которую я видел в ободе сорванной подковы. Мерка должна была,мерить не только коня.

Глава четвёртая. Восьмое отверстие

Дед пришёл с Гряды к полудню, и я узнал о его приходе по тому, как Кусака встала и пошла к калитке не лаять, а встречать. Собака, между нами, делит всех на два сорта: тех, на кого лаять, и тех, кого встречать. Вторых у неё было меньше, чем моих пальцев на одной руке.

Дед был невысокий, сухой, с руками, которые висели вдоль тела, как два готовых инструмента. За ним шагал Тихон — мальчишка моего возраста, с резцом за поясом, и резец этот был заточен, как совесть у того, кто ей пользуется.

— Гуннар дома? — спросил дед.

— Спина, — сказал я.

— Тогда, значит, с тобой. — Дед вошёл в кузницу без приглашения и посмотрел на верстак. Посмотрел долго. Потом взял мою подкову — первую, кривую, которую я так и не выбросил, — приложил к своей ладони, как прикладывают линейку, и положил обратно. — Кривая.

— Я знаю.

— Знаешь — и держишь? — Тихон за его спиной хмыкнул. Дед обернулся, и хмыканье кончилось. — Плохую работу выбрасывают только глупцы. Умный держит её, пока не поймёт, где криво. Потом выбрасывает. Незнание, лопух, стоит дороже железа.

Он взял вторую подкову — хорошую, с узелковой серёдкой, — приложил к копыту Бойки, которого Копейка как раз привёл, и кивнул сам себе. Потом увидел на полке над горном сорванную половину — купеческую, с заваренным восьмым.

Он не дотронулся до неё сразу. Он подошёл и стоял, между нами, дольше, чем стоял над моими работами. Потом взял, повернул к свету и провёл пальцем по заварке — так, как читают письмо.

— Городская школа, — сказал он.

— Чья?

— Не наша. — Он положил половину обратно на полку, ровно туда, где она лежала. — И не дедова. Дедова ты знаешь. Эта — тоньше. Из тех рук, что режут, как пишут. Так не куют в деревнях и не куют в цехе: у цеха рука тяжёлая, покорная. А тут рука, которая считала.

— Считала? — спросил я.

— Восьмое отверстие не пробивают для гвоздя. Семь — расчёт, семь — для обода, семь — для коня. Восьмое — не для коня. Восьмое — для счёта. — Дед посмотрел на меня. — А счёт, мальчик, на коне не висит. Счёт ходит за человеком.

Тихон смотрел на половину подковы из-за плеча деда, и лицо у него было не мальчишеское: он смотрел как смотрят на то, чего в его ремесле не должно быть, а оно есть.

— Ты знаешь, чья рука? — спросил я.

— Знаю, что не моя. — Дед сел на скамью. — Остального не знаю. И ты не спрашивай, чего я не знаю: спрашивай то, что я знаю. Иначе будешь платить за чужие пробелы, как платишь за свои.

— Тогда что ты знаешь?

— Что эта школа городская, старше моего отучения и не там, где ищут. — Он помолчал. — И что кто сделал её не заваривал восьмое свинцом. Заварка — железом по железу. Так заваривает тот, кто не боится, что заварку снимут. А не боится тот, кто знает, что снять её может только он сам.

Гуннар вышел из дома на середину разговора — спина держала его прямо, как держит столб, на который навалили. Он посмотрел на деда, на половину подковы, на меня — и не спросил ничего. Взрослые при нас не спрашивают, когда хотят, чтобы мы не знали ответа. Или знают.

— Куй, — сказал дед мне. — При мне. Семь отверстий, по счёту.

Я затопил горн. Руки, между нами, дрожали не от страха — от того, что за спиной стояло два кузнеца и один ученик, и все трое молчали. Молчание у наковальни — это четвёртый работник: он держит темп.

Полоса легла. Я гнул по узелковой серёдке — утро, обед, вечер, — и на седьмом ударе дед сказал тихо:

— Стой.

Я встал. Пауза.

— Отверстия, — сказал он. — Семь. Пять по краю, два под гвоздь запасной. Бей по разметке, не по глазу. Разметку режь шильцем, не молотом: молот всё делает громко, а отверстие любит тишину.

Я бил. Пять по краю легли ровно, как горошины, посаженные в ряд доброй хозяйкой. Два под запасной — Гуннар кивнул. И я, между нами, спохватился: отверстий в ободе моей подковы было ровно семь.

— А восьмое? — спросил я.

Дед не ответил сразу. Он взял из ящика кусочек свинца, потом положил обратно и взял полосу железа — узкую, с ноготь.

— Смотри.

Он приставил полосу к краю обода моей подковы — туда, где после седьмого оставался кусок, узкий, ничей, — и налепил на него раскалённую каплю железа. Капля легла, растеклась, втянулась в металл, как вода в сухую землю. Дед накрыл её шлаком, ударил легко, раз, и подула кузница своим же горном. Через минуту на месте куска обода стояла гладкая заплатка — будто восьмого отверстия и не было никогда.

— Заварка, — сказал дед. — Железом по железу. Свинец — для тех, кто хочет, чтобы нашли. Железо — для тех, кто хочет, чтобы не нашли, пока он сам не скажет.

— Почему ты не оставил восьмое?

— Потому что твоему коню нужны семь. — Дед вытер руки. — Семь — для коня. Восьмое — для счёта. Конь не считает, лопух. Конь идёт. И пока ты куёшь для коня — счёт сидит в тебе тихо. А как только счёт выйдет наружу, его начнут искать все, кто не умеет считать сам. Поэтому восьмое, между нами, не пробивают. Его ждут.

— Дед, — сказал я. — А та рука, городская, — она ждёт?

Дед посмотрел на меня так, как смотрят не на мальчика, а на вопрос.

— Все, кто куёт с восьмым, ждут, — сказал он. — Вопрос не в том, кто ждёт. Вопрос в том, кого он дожидается.

Он поднялся, взял свою сумку и, уже стоя в дверях, вынул из неё дощечку — простую, тёмную, с одним столбиком зарубок. Положил на верстак, рядом с моей кривой подковой.

— Зарубай каждый день, — сказал он. — По одному на день. Пока куёшь подковы — семь. Как конь пойдёт — восьмую.

— Зачем?

— Затем, что счёт, которого не ведут, умирает. — Он посмотрел на Тихона. — Резец у него. Возьми на вечер, если хочешь. Резец, между нами, не отнимают. Его дают — и никогда не дают тем, кто просит.

Тихон молча протянул мне резец. Ручка была тёплая — он держал её всю дорогу, от Гряды до нашей кузницы, и я впервые подумал, что инструменты тоже греются от руки и остывают, когда рука уходит.

Кусака в этот вечер сидела на верстаке — там, где лежала дедова дощечка, — и не пускала никого, кроме меня. Я подошёл, взял дощечку и вырезал первую зарубку — мелкую, по краю, свою. Собака спустилась, обошла верстак и легла у моих ног, положив голову на мои сапоги. Между нами, у неё это выглядит так, будто она не спит, а слушает счёт. И слушает не железо. Слушает меня.

Крючок главы: ночью я вынес дощечку на крыльцо и положил рядом с дедовой подковой, на притолоке. Утром на дощечке была вторая зарубка. Резкая, свежая, чужой выправкой — той самой, что я видел на купеческой подкове. Счёт, который я начал,вчера, уже кто-то продолжал. И продолжал не со мной — за мной.

Глава пятая. Гвозди

Обоз пришёл на четвёртый день, после полудня, когда я уже успел решить, что Тимоха всю эту историю выдумал нарочно — чтобы я не спал ночами и ходил в науку с зелёными глазами.

Услышали его раньше, чем увидели. Со стороны брода, по зимнику, шёл скрип — не такой, какой делает одна телега; такой делает дюжина. Снег под полозьями жаловался на жизнь по очереди, подъезд за подъездом. Мальфрида ещё до скрипа поставила на стол лишнюю кружку: она всегда знает, сколько народу придёт, раньше, чем народ об этом узнаёт.

— Обоз, — сказал Гуннар и не встал. Он допивал чай, как допивают его перед работой: медленно и целиком. Потом поднялся, втянул бороду, взял рукавицы. — Одевайся, подмастерье. Сегодня ты работаешь по своей сделке.

— По штрафной сделке, — поправил я.

— Я помню, какая у тебя сделка, — сказал Гуннар. — Ты сам её выторговал. Когда закроешь счёт — поблагодаришь Прохора.

У трактира Селивана стояли сани — шесть штук в ряд, как гуси. Конов отвели к столбу у крыльца, возницы грели руки у огня и выдыхали пар, будто курили. Копейка уже таскал мешки из саней — я как раз увидел, как он нырнул в сугроб по пояс, и мешок, вынырнув, оказался сверху. Из сугроба торчала одна голова, и голова говорила:

— Ничего! Я так! Укрепляюсь!

— Крепче только снег, — сказал я.

— Это и есть укрепление, — ответил Копейка, вылезая. — Влезешь в него — и будешь крепкий. Снег вон вся зима влезает и не жалуется.

Мы с Гуннаром подошли к столбу. Прохор стоял со старшим возницей — Ярёмой, сухим мужиком в овчине навыпуск, у которого лицо было такое, будто оно всю зиму переживает без перчаток.

— Вот этот подмастерье и ковал вашего Вертуна в прошлый раз, — сказал Прохор. — Ковал так, что вы теперь до города доедете, а не до половины.

Ярёма посмотрел на меня, как смотрят на лекаря, которого привели к уже умершему.

— На Вертуне городская подкова, — сказал он. — Городская. Ты её тронешь — пеняй на себя.

— Наоборот, — сказал я и потом сообразил, что это прозвучало дерзко, и добавил: — То есть мне её срезать надо. Она стёрлась до пазов. Держится на четырёх гвоздях из семи.

Тут надо объяснить. Городские подковы я видел на ободных лошадях и прежде, но вблизи не рассматривал: держал уздечку, дышал, считал свои ошибки. Теперь Вертун стоял передо мной, и я впервые смотрел на городскую работу в лицо.

Подкова была ровная. Не так, как ровная наша — наша ровная выходит из руки, и в ней сидит рука: горбики от молота, тёплые неровности. Городская была ровная, как линейка. В моём мире линейкой нельзя было пользоваться на контрольной, а здесь, судя по всему, весь город контрольную пишет линейкой.

— Откуда такие? — спросил я.

— Из Строгановых рядов, — сказал Ярёма. — Заезженная. Полстои на ней.

«Полстои» — это столько, что я сбился считать на узелках, поэтому сказал честно:

— Дорого.

— Дорого, — согласился Ярёма. — Потому и не хочется, чтобы пацан её срезал.

— Срежу аккуратно, — сказал я. — Позвольте посмотреть, чем она прибита. Я не видел городских гвоздей вблизи.

Ярёма подумал. Прохор подумал. Гуннар не думал — он смотрел на подкову поверх моей головы, и смотрел так, как смотрят не на подкову.

— Смотри, — сказал наконец Прохор. — Но помни сделку: перепортишь — высчитаю.

Кусака в это время сидела возле Вертуна и смотрела на его копыто тоже. Смотрела так внимательно, что возница хотел её отогнать, но Ярёма сказал: не тронь, собака знает в лошадях. И это была чистая правда: собака в лошадях знала больше меня, потому что могла их нюхать, а я только считать.

Я поднял ногу Вертуну на колено — как учил дед: она легла сама, конь даже не вздрогнул, и я, между нами, был горд этим до невозможности. Потом посмотрел на гвозди.

Гвозди были тоньше наших. Ровные, тонкие, как шампуры для маленькой рыбы, и зашли в рог дорожка за дорожкой — белую линию ни разу не пробили. Я приложил свой, кузнецкий, — и наш гвоздь рядом с городским выглядел как взрослый рядом с подростком. Такой гвоздь в городское ухо я забить не смогу: он перепортёт дорожку.

— Здесь гвоздь тоньше, — сказал я Прохору.

— Всякий раз болтает, а теперь говорит, — хмыкнул Ярёма.

— Я всегда так говорил, — сказал я. — Просто раньше по делу.

Тимоха сидел на крыльце трактира и резал яблоко на восемь частей — одну съел, семь оставил. Так он сидел всегда: резал, съедал, оставлял. Он сказал тихо, только мне:

— С обозом едет писарь. Городского цеха. Записывает, у кого как куют и кто чем торгует.

— Зачем ему это?

— Затем, что цех считает, — сказал Тимоха. — Он всё считает. Даже то, что ещё не продано. — Он дожевал своё яблоко. — И ещё: за проезд возницы берут вдвое. Дорогу расчистил не барон. Дорогу расчистил цех.

Я хотел спросить, откуда он всё это знает, но Тимоха давно меня научил: с ним не спрашивают. С ним ждут, когда он сам захочет, и говорят спасибо. Между нами, я до сих пор не понял, что больше похоже на дружбу — говорить спасибо или знать, за что.

Тут пришла Пелагея. Она шла от церкви с корзиной — несла отцу на службу просфоры, а теперь несла обратно пустоту. Увидела нас у столба, увидела подкову в моей руке и подошла. Не побежала — подошла, как подходят посмотреть на дело, а не на драку.

— Это городская? — спросила она.

— Городская.

— На ней семь гвоздей и восьмое отверстие, — сказала Пелагея. — Восьмое заделано. Твой дед так же делает.

Я замер. Замер так, что гвоздь в руке стал холодным — хотя он был тёплый, я же его грёл.

— Откуда ты знаешь про восьмое?

— Я считаю, — сказала Пелагея и показала бересту с узелками. — Семь узелков — гвозди. Один узелок в стороне — то, что заделано. Твой дед один раз объяснял отцу кузнечный счёт. Я слушала.

— Твой отец — поп. Ему нельзя слушать кузнечный счёт.

— Моему отцу нельзя много чего, — сказала Пелагея. — Но он слушает. И я слушаю.

— Срезай или нет? — сказал Прохор.

— Срежу, — сказал я. — Только гвоздь мне нужен городской. У меня таких нет.

— Гвоздь купи, — сказал Прохор. — За три копейки. У возницы запас есть.

— У меня нет трёх копеек.

— Есть долг Гуннару на два, — сказала Мальфрида, которая подошла ставить кружки на крыльцо трактира, потому что Селиван брал у неё хлеб. — И на бересте. Я считала.

Я в этот момент подумал не о деньгах. Я подумал: вот человек — Гуннар — дал мне в долг два медяка, а его жена ходит с берестой, где нарисован мой долг. У нас в моём мире так делают только банки. И я до сих пор не понял, кого это больше позорит — меня или банки.

Гвоздь я выторговал у возницы за две копейки вперёд и обещал третью после работы. Потом срезал городскую подкову.

Это было труднее, чем я думал. Я не помнил, как срезают городскую: у нас учили срезать нашу, где гвоздь идёт дорожкой и выламывается против хода. Городской гвоздь шёл дорожкой тоже, но тоньше, и когда я потянул клещами — гвоздь лопнул. Лопнул у самого уха копыта, и кусок остался в роге.

Я, между нами, думал в этот момент не о смерти и не о деньгах. Я думал о пирогах: Мальфрида обещала пироги с луком, если я кончу до темноты. И только потом подумал про кусок гвоздя в копыте — и стало уже холодно по пояс.

— Клещом нельзя, — сказал дед.

Я обернулся. Дед стоял за моей спиной — а я всегда слышу, как он подходит, потому что у него шаг в пол-аршина. Дед взял у меня клещи и отложил в сторону. Потом достал из-за пояса узкую стамеску, отполированную до белизны, и сделал в роге маленький желобок над застрявшим куском. Не выковырял — вынул. Гвоздь вышел целиком, как будто его туда просто положили.

— Ты тянул поперёк, — сказал дед. — Городской гвоздь тянут вдоль.

— Почему?

— Потому что он тонкий, — сказал дед. — Наш толстый — ему всё равно. Городской тонкий — ему не всё равно.

— А наш кузнец почему портит городское?

— Потому что наши кузнецы всё тянут поперёк, — сказал дед. — И городские тоже.

Кусака, которая всё это слушала, подошла к срезанной подкове, лежавшей в снегу, и села на неё передними лапами. Возница хотел отогнать — Ярёма не дал.

— Пусть сидит, — сказал Ярёма. — Значит, подкова мёртвая. На живую не сядет.

Спорить с человеком, который пережил зиму без перчаток, было некогда.

Дальше я ковал свою подкову на Вертуна — первую, которую ковал под взглядом трёх взрослых и одной собаки. Ковал медленно. Гвоздь брал городской, тонкий, и дорожку вычитал по старой: она уже была проглажена в роге, и по ней новое шло легко. Молот не брал самый тяжёлый. Между нами, я до сих пор боюсь молота тяжелее двух фунтов: не потому, что не подниму. Потому что после него я три дня не попадаю по гвоздю.

Подкова легла. Конь поставил ногу, переступил — и не хромал. Ярёма посмотрел на копыто, потом на меня, и на его лице, которое всю зиму переживало без перчаток, впервые расступилось.

— Годится, — сказал он. — Плата по сделке. Минус три гвоздя испорченных.

— Один, — сказал я. — Только один.

— Ты тянул поперёк, — сказал Прохор. — За тягу поперёк высчитываю вдвое.

— По какому тарифу?

— По моему, — сказал Прохор. — Он короткий и понятный.

Так я заплатил за своё наугадничество: два медяка с платы за коня, плюс один — долг Мальфриде на бересте. По правилам: не помнишь пропорцию — платишь наугадом. Наугад, между нами, стоит дороже знания всегда, потому что знание потом возвращается, а наугад — только с процентами.

Вечером, когда обоз ушёл и кони уснули в тёплой конюшне трактира, Гуннар положил на наковальню срезанную городскую подкову. Стёртую, с семью гвоздями и заделанным восьмым отверстием. Повернул её к свету — туда, где по внутреннему сгибу не так быстро садится грязь, — и я увидел то, чего не разглядел днём.

По сгибу, внутри, было клеймо. Маленькое — не крест, не цеховой гребень, не имя. Черта. Одна черта, короткая, косая.

— Подделать можно всё, — сказал Гуннар. — Кроме старания.

— Это не подделка, — сказал дед. Он стоял у горна, и горн в этот вечер не топили. — Это работа. Кто-то в городе кует с тем же счётом. Семь — для коня. Восьмое — для счёта.

— Чья рука? — спросил я.

— Это и узнай, — сказал дед.

Я снял подкову с наковальни и отнёс её в ящик со старым железом — дед молча смотрел, как я это делаю, и кивнул. Между нами, я давно выучил этот кивок: он означал не «хорошо». Он означал «правильно сделал, что не оставил на виду».

— Уберу, — сказал я. — Завтра перепрячу на живую лошадь, пусть ходит в городе дальше.

— Пусть ходит, — сказал дед. — Пусть город увидит, как его черта лежит на нашей наковальне.

Я так устал за день, что даже тайна не пугала. Она просто лежала в ящике со старым железом — одна черта, короткая, косая, — и ждала, когда я стану снова бояться. Утром я буду бояться точно.

Крючок главы: городская подкова легла в ящик со старым железом — с той же чертой внутри, что и у деда. Кто-то в городе кует по дедову счёту. А писарь городского цеха сегодня записал в свою тетрадь: в деревне Колотово есть кузница.

Глава шестая. Гвоздь идёт вдоль

Ночь в кузнице гудит, как пустой горшок. Уголёк дышит оранжевым, стены ходят тенью, и я сидел над верстаком, как двоечник над задачей: смотрю — и ничего не понимаю.

На верстаке лежала срезанная городская подкова. Тёмная сталь, восемь отверстий, восьмое заделано аккуратно, как будто его и не было никогда. А внутри, в самом металле, шла тонкая косая черта. Такая, какие чертят учителя в тетрадях, когда решено всё правильно.

В моём мире такую черту рисуют на досках — каждую неделю, годами. Здесь я её не видел ни на одном гвозде, ни на одной дуге, ни на одной подкове за все три зимы. А она есть. Внутри железа. У чужого мастера.

— Ну и кто тебя, подкова, ковал? — спросил я вполголоса.

Подкова молчала. Она вообще молчаливая.

Между нами: разговаривать с железом — не самое двоечное, что я делал за зиму. Двоечнее было, когда я спорил с таблицей умножения. Проиграл, между прочим. Таблица держалась твёрже.

За спиной скрипнула притолока. Я чуть не проглотил собственный язык.

Гуннар стоял в дверях — огромный, босый, с заслонкой в руке. Посмотрел на меня. Посмотрел на подкову. И молчал так долго, что я услышал, как за стеной ворочает чугунок Мальфрида.

— Положь, — сказал он наконец.

— Я так... просто смотрел...

— Положь на место. Спать иди.

И вышел. Не объяснил ничего.

А Гуннар, если что замечает, объясняет всегда: почему нельзя, чем заплатишь, кто узнает. Объясняет так, что уши вянут и завязываются узлом. А тут — «положь». Слово и слово.

Между нами: когда учитель молчит, это хуже двойки. Двойку хоть исправить можно. А молчание исправляешь только временем, а времени у меня нет — Прохор ведёт Вертуна к утру.

Утром пришла Мальфрида — с половником и с чугунком похлёбки.

— Ешь, — сказала, наливая, — покуда горячее. И покуда я не передумала.

Я развернул бересту с узелками и пересчитал долги, как пересчитывают сданную зарплату. За гвоздь — три копейки в долг Гуннару. Прохор высчитал с меня два медяка за лопнувший гвоздь. Мальфриде — полтора медяка за овсянку да чинёную рубаху. Итого я был должен столько, что если бы долги платили мышцами, я был бы силачом.

— Мальфрида, а если я долг отработаю? Подмету, дров наколю...

— Дров наколешь, — сказала она без всякой надежды в голосе. — Подметёшь. А долг останется долгом. У нас в доме долги не отстирываются, дорогой. Их отрабатывают спиной, а списывают — никогда.

Копейка пришёл на запах похлёбки. Он всегда приходит на запах раньше, чем на дело.

— Гош, — сказал он с порога, втискиваясь в дверь боком, потому что передом уже не помещался, — а похлёбка вкусная?

— А ты попробуй.

— Я пробовал вчерась у отца. Там было вкусно. Значит, у вас тоже вкусно, раз Мальфрида варила, а Мальфрида у Гуннара, а Гуннар у вас. Выходит, вкусно по цепочке.

Такая у него логика. Круглая, как он сам.

Мальфрида налила ему полную миску и уставилась:

— Ходить тебе вдоль стен, скалозуб. Посуду не тронь. Кадку не тронь. Меня не тронь.

— Я никого не трогаю, — обиженно сказал Копейка. — Я ем.

— Вот это и пугает.

Кусака сидел у чугунка и дышал так громко, что становилось жарко. Потом ткнулся мне в колено и посмотрел снизу вверх: мол, хозяин, у пацана миска лишняя. Говорить он не умеет, а сказать сумел — вильнул хвостом так выразительно, что стало ясно: я ему должен, и проценты капают.

— Не тебе, Кусака, — сказал я. — Долгам конец. По бересте вижу — конца не вижу.

Кусака вздохнул, как налоговый писарь, и лёг под лавку — значило, дело безнадёжное, а он в нём не участвует.

После похлёбки Гуннар вынес мне прут и молоток и поставил передо мной, как перед наказанным ставят горох.

— Куй.

— Я же вчера...

— Куй. Гвоздь помнишь, какой лопнул в копыте? Вот и куй таких же. Покуда не поймёшь, чем они друг от друга пахнут.

— Гвозди пахнут железом, — сказал я.

— Плохие пахнут твоим враньём, — сказал Гуннар. — Куй.

Я бил. Первый гвоздь вышел кривой, как дорога после пьянки. Второй переклёпал в лепёшку. Третий перегнул пополам — и он с тихим щелчком развалился, вежливый, как понарошку. На четвёртом прут кончиком долбанул мне по костяшке. Я сел, сунул руку в рот и подумал, что в моём мире за такую учёбу платят стипендию, а здесь наоборот — платишь ты. Ожогом, прутом и временем.

Между нами: издержки наугада выходят из моей же бересты. Прут — семь сантимов. Костяшка — бесплатно, но больно.

— Гуннар, — сказал я сквозь пальцы, — а почему он лопается?

— А ты как тянул?

— Поперёк. Ну... боком. Во-от так.

— А вдоль пробовал?

— Вдоль?

— Пробуй.

Я взял новый прут, положил его на наковальню вдоль — и вдруг увидел то, что слепло у меня три дня: у железа есть волокно, как у дерева. Вдоль волокна оно тянется, поперёк — ломается. Я тянул поперёк. Всё время. Каждый гвоздь из семи.

Пятый гвоздь я тянул вдоль. Он вышел ровный, длинный, с гладкой шляпкой. Шестой — лучше. Седьмой — я уже дышал ровно, как Гуннар, и бил не в спешке, а в счёт.

— Гуннар, — сказал я, — а почему ты раньше не сказал?

— А ты спрашивал «почему лопается». Спрашивай верно — отвечу. Ты спрашивал «почему лопается», а надо было спрашивать «как тянуть».

Потом он подошёл к горну, глянул на угли и сказал тихо, как под себя:

— Гвоздь идёт вдоль дерева, Гоша, а не поперёк. И человек — тоже. Вдоль — стоит, поперёк — ломается.

Между нами: записал в голове под рубрикой «умные вещи Гуннара». Пункт третий. Пункт первый — «мера важнее силы». Пункт второй — «не помнишь пропорции — не хвались». Рубрика растёт медленнее, чем долги, но растёт.

К полудню за гвоздями пришла Пелагея. По поручению отца: церковным ставням нужны кованые, четыре штуки, причт платит по полкопейки за штуку.

— Здравствуй, — сказала она и посмотрела не на меня — на верстак. — Это что у вас?

— Так... опытный образец, — сказал я.

— Опытный, — повторила она, пробуя слово на зуб. — Слово заморское?

— Городское, — сказал я. Городское было ближе к правде.

Она взяла срезанную подкову и повертела в руках, а у меня внутри всё сжалось. По логике вещей след чужого мастера должен был вести куда угодно — только не к нам в кузницу. Но подкова лежала у нас. И если она скажет отцу, отец скажет наместнику, а наместник... наместник любит, когда есть кого спросить.

Пелагея провела пальцем по заделанному отверстию и нахмурилась:

— Здесь заплавлено. Наши так не делают.

— Наши? — вырвалось у меня.

— Ну... ваш, — поправилась она, и щёки у неё стали как угли из горна.

Между нами: у нас с ней всё сложно. Я ей — сказать нечего, она мне — тоже, а молчим так, что если бы кто подслушивал, подслушивающему стало бы неловко за нас обоих.

— Гвозди будут к вечеру, — сказал я. — Четыре. Как договаривались.

— Хорошо, — сказала она. И, уже уходя, обернулась: — Гоша. Эта подкова — не Прохорова?

— Городская, — сказал я.

— Городские я видела. Другие городские. — Она положила подкову на верстак ровно, чтобы восьмое отверстие смотрело вверх, и вышла.

И я остался стоять и думать, что дочка священника разобрала мою тайну за полминуты, а я на неё — за три зимы. Распределение не в мою пользу.

К сумеркам наведался Тимоха. Вошёл без стука — он считает стук занятием для чужих.

— Новости, — сказал он, присаживаясь на чурбак. — У цеха книга. В книге все мастера волости: кто кому что куёт, за что сколько. Прохор пишет. Так вот, подкова твоя городская в книге не значится.

— И что?

— И то, что городскому мастеру ковать у нас нельзя без челобитной барону. Челобитной нет. Значит, ковал тайно. Значит, эта подкова — не подкова. Она улика. — Тимоха был доволен собой, как кот, утащивший рыбу с чужого стола.

— Откуда ты всё это знаешь?

— Слышал. У отца трактир, у трактира уши, у ушей — головы, — он пожал плечами. — С другом не торгуюсь. С другом делюсь.

— А с не другом?

— С не другом — торгуюсь. Вот с Прохором торговался, между прочим. Про твою сделку. Сбил тебе штраф с трёх медяков до двух. Уважь.

— Это ты сбил? А я думал, Гуннар.

— Гуннар сказал ему, что сломает ему ярмарку, а я сказал, что расскажу писарю, как Прохор куёт шипы из переклёпанного железа. Разными руками одно дело сделано. Это называется цех.

Между нами: Тимоха — единственный человек в волости, который врёт красиво и правду держит отдельно, как нож и масло. Нож — не всегда, масло — всегда.

— Тимоха, а тебя в эту книгу записать?

— Как это?

— Так. Тащишь у отца кружку — она в счёте. Уносишь гвоздь из кузницы — он в счёте. Вот бы тебя в книгу цеха. «Тимоха, трактирный. Крадёт неровно».

— Ровно я красть не умею, — вздохнул он. — Всё неровно выходит. Потому и остаюсь бедным.

Мы ржали вдвоём, а Кусака вылез из-под лавки и посмотрел на нас с осуждением собаки, у которой в доме нет порядка.

Вечером пришёл Прохор. В тулупе, снег с плеч, тяжёлый, как его же приговор.

— Коне, — сказал он без приветствия, — я утром Вертуна веду. Перекуёшь?

— К утру, — сказал я.

— А не перекуешь?

— Перекую.

— А если нет?

— Если нет — плати я.

— Двойное, — сказал Прохор. — И про черту твою наместнику расскажу. Вон чёрную подкову понесу, пусть смотрит, что у вас за железо с диковинками.

— Не надо наместнику, — сказал я быстро. И тут же пожалел, что сказал быстро: видно было.

— Тогда сделай, — сказал Прохор. И добавил, уже мягче, глядя в сторону: — Конь у меня один. Губы ему помнишь? Рожа дурацкая, а конь хороший. Сделай по-человечески — и по-человечески же и расчётись, без твоих городских диковинок.

И ушёл. А я остался с горном, прутом и мыслью, что сделка у нас не сделка, а петля: затянулась — и крути как хочешь.

Между нами: я ненавижу сделки, где проигравший известен заранее. Особенно когда проигравший — я. Это не игра, это расписание.

Ночь я ковал.

Уголёк дышал, наковальня звенела вполголоса, чтобы не будить деревню. Гуннар дважды выходил из избы посмотреть и дважды уходил не сказав ни слова. На восьмом гвозде я поймал его: удар лёгкий, наклонный, вдоль волокна — и металл пошёл, как масло по тёплому хлебу. Гвоздь получился не просто ровный. Он получился правильный.

Кусака сидел у дверей и наблюдал. Потом поднял морду и завыл — негромко, вполголоса, в потолок.

— Что это? — спросил я.

— Ветер, — сказал Гуннар из избы.

Но голос у него был не тот. Потому что в ветре Кусака не воет. В ветре он нюхает.

Мы вышли за кузницу. Снег хрустел под ногами, звёзды стояли колючие, как гвозди, у которых нет хозяина. И на снегу за оградой я увидел след. Сапожный. Не лапоть. Не валенок. Сапог с городской подошвой, с узким каблуком.

— Свежий, — сказал Гуннар и накрыл след ладонью, как накрывают свечу.

След шёл от брода к кузнице — и обратно, к броду. Кто-то ходил к нам ночью. И вернулся. И от этого следа до подковы с косой чертой — одно расстояние, как от вопроса до ответа.

Между нами: и вот в этот момент, честное слово, я подумал о похлёбке. Думал: вот бы ещё похлёбки. Серьёзно. В страшные моменты я всегда думаю о еде — врач бы меня не одобрил, а Кусака бы одобрил.

Крючок главы: за оградой кузницы — свежий след городского сапога. Кто ходил к нам ночью, что видел — и кому уже знает?

Глава седьмая. Ночной гость

Вечером кузня остыла до красных пятен по углам. Гуннар загребал уголь горкой — по-нашему это «уборка рабочего места», по-здешнему «готовка к утру». Я таскал щипцы на крюки и дышал потише: после того как я при писаре ляпнул про наместника, у Гуннара в плечах поселилась тишина, от которой хочется забраться за чан.

— Гоша, — сказал он, не оборачиваясь.

— Я.

— Ты сегодня согрешил не тем, что сказал. Ты согрешил тем, что сказал с радостью. Радостного болтуна писарь запоминает лучше умного.

— Я его отвлекал.

— Ты думал вслух. Вслух думают в лесу. В кузне вслух думают за деньги, и то не всякий раз.

Кусака вздохнула и положила мне на колено голову. Я так и понял это по её глазам: прячу, но недолго, ты сегодня тяжёлый.

Мальфрида вынесла кашу с салом и репой. Репы было больше, чем сала, — это она мне без слов сообщала, что день не удался. Хоть в каше дело было не в репе, а во мне.

Тимоха влетел, пока Мальфрида ставила горшок. Влетел бесшумно, как кошка по крыше, — высокий, длинный, свой плащ на два пальца передернул, чтобы с него пыль слетела красиво.

— Ешь быстрее, — сказал он мне тихо. — После каши разговор. За конюшней, минут через десять.

— Что за разговор?

— Тёплый. — Он оглянулся на Мальфриду, улыбнулся ей слаще, чем следовало, и вышел.

За конюшней было темно и пахло навозом и воронёным железом. Тимоха говорил в стену, я смотрел в него.

— У нас в трактире стены слушают, — сказал он. — Я слушаю стены обратно. Сегодня полдня слушал.

— И что услышал?

— Постоялец у отца. Со вчерашнего утра. Платил серебром, а серебро с обрезанным краем — отец такие монеты держит отдельно и не любит. Постоялец с почтовой дороги, плащ дорожный, сапоги городские. А сегодня под вечер я его за конюшней застал. Шептался.

— С кем?

— С писарем цеха. — Тимоха подождал, чтобы это дошло. — Писарь цеха, Гоша. Который по книге долги пишет. Который твой штраф в два медяка записал. Они стоят в темноте и шепчутся, как будто конюшня — та самая дверь, которую оба боятся.

— Может, они просто…

— Не просто. Я умею слышать шёпот. — Тимоха улыбнулся без веселья. — Из-за стен нашего трактира я умею слышать даже молчание.

Это была пикировка не для меня, а вообще для мира, и я промолчал, потому что победить было нечем.

Ночью я лежал на лежанке у горна и слушал, как остывает железо. Железо остывает с тонким звуком, вроде кого-то, кто засыпает со вздохом. Меня клонило, и я почему-то думал не о том, что за окном делается, а о пироге с луком, который Мальфрида спрятала на утро. В опасной ситуации я всегда думаю о еде. Дед говорил: это у тебя душа простая. Я говорил: это у меня душа практичная.

Стук в дверь был не такой, как стукают свои. Свои стучат кулаком. Этот стучал ребром ладони, три раза, коротко.

Кусака не залаяла. Она встала и молча пошла к двери. Я проснулся весь сразу: когда Кусака не лает на гостя, надо смотреть на гостя в оба.

Гуннар отодвинул засов. На пороге стоял человек в дорожном плаще, капюшон низко, сапоги городские — я узнал их по тонкой подошве и по тому, как они блестят. Свои деревенские сапоги так не блестят: у нас сапоги работают, а эти отдыхали.

— Мне нужна работа, — сказал гость. — Нынче. До света.

— Ночью кузня не работает, — сказал Гуннар.

— Ночью и плачу иначе. — Гость вынул кошель и выложил на лавку серебро. Оно стукнуло о доску глухо, по-своему, и я услышал в этом стуке обрезанный край — Тимоха не соврал.

— Перековать мерину подкову, — сказал гость. — Ту, что при мне. Точно такую же.

Он положил на лавку подкову. Свеча качнулась, и я увидел то, чего не должен был увидеть, но увидел. По внутренней стороне подковы шла косая черта, как у деда за Грядой. А одно — восьмое по счёту — отверстие было заделано. Свинцом, свежим, не старым.

И я сделал то, за что потом платил всю ночь. Я спросил вслух:

— А эта дырка почему закрыта?

В кузне стало очень тихо. Кусака поднялась на лапы, молча. Гость повернулся ко мне, и я увидел подбородок — крупный, гладко выбритый, городской.

— Сделай, как было, — сказал он Гуннару. — Закрой снова. К свету.

— Днём подковывают коней, — сказал Гуннар ровно.

— Днём подковывают простаки. — Гость положил на серебро ещё монету. — К свету, кузнец. И пусть мальчик молчит. Молчание дешевле слов, но дороже серебра.

Он ушёл, и капюшон его скрыл лицо раньше, чем дверь скрыла его самого. Гуннар стоял и смотрел на лавку. Серебро лежало, и брать его он не брал.

— Возьми, — сказал я тихо.

— Ночью руками не беру, — сказал Гуннар. — Утром посмотрю, что за монеты. — Он повернулся ко мне, и в его глазах было столько света, сколько не бывает у свечей. — А ты, проговорщик, остаёшься у горна до света. За проговор платят бессонницей. Бесплатно.

— Я не хотел…

— Хотел. И спрашивал по-своему, не по-дурацки. Потому и страшно. — Он помолчал. — Кто платит серебром в темноте, тот прячет покупку от солнца. Спи у горна, Гоша. И слушай железо: оно ночью говорит, чем днём молчит.

Мальфрида вышла с половником, посмотрела на серебро, на Гуннара, на меня и ушла, не сказав ни слова. Это был её самый страшный приговор: когда Мальфрида молчит, значит, передумала меня бить и оставила Гуннару.

Кусака легла у двери мордой к порогу. Я сидел у горна и думал о пироге. Потом о том, что след сапога я видел у ограды ещё до гостя. Потом снова о пироге — потому что так проще.

Под утро я задремал. Разбудил меня сквозняк: ставня была приоткрыта. Кусака стояла у окна и смотрела вниз, и шерсть у неё стояла дыбом, ровно как трава перед грозой.

Утром за оградой, в талом снегу, я нашёл след. Городской сапог, носок к ставне. Кто-то стоял под окном и ждал, пока я усну.

Копейка пришёл с мерином Вертуном, когда я ещё тёр глаза.

— Чего у тебя лицо, как у кота, который не выспался и виноват? — спросил он.

— Кот не бывает виноват, — сказал я. — Кот бывает уставший и правый.

— Это про меня. — Копейка смахнул слезу смеха. — Вертун хромает снова.

Вертун стоял честно и при этом тянул губами полу моей рубахи. Потом шарил губами по моему карману — искал сдобу, сволочь добрая.

— У Вертуна губы умнее головы, — сказал Копейка. — Голова не помнит, где овёс, а губы помнят, где у меня карман.

— Он не про овёс, — сказал я. — Он про ночного гостя. Губы у коней не врут: он того человека видел раньше. И боится.

Копейка посмотрел на Вертуна, потом на меня, и я впервые видел, как у Копейки делается серьёзное лицо. Некрасиво и страшно.

Пелагея ждала у ручья. Береста в руках, узелки на ней — я уже знал, что она считает не дни, а ночи, и это было хуже.

— Ночью к тебе приходили, — сказала она. Не спросила — сказала.

— Откуда ты…

— Отец не спал. Он сказал: кто приходит ночью — тому не нужен дневной свет. — Она смотрела на меня поверх бересты. — Гоша, если тебе опять стыдно за меня, скажи один раз, и я уйду.

— Мне не стыдно за тебя, — сказал я. — Мне стыдно за меня.

Она кивнула, будто это было ровно то, что она хотела услышать, и пошла к церкви, и щёки у неё горели, как угли в холодном горне.

Крючок главы: под окном, носком к ставне, стоял городской сапог — и ждал, пока Гоша уснёт.

Глава восьмая. Обрезанное серебро

Утром Гуннар выложил вчерашнее серебро на наковальню и разложил монеты в ряд, как ложки перед обедом. Семь штук. Он брал каждую двумя пальцами, поворачивал к свету и щурился.

— Смотри, — сказал он мне.

Я наклонился. Край монеты был неровный, будто её по кругу стригли ножницами.

— Обрез, — сказал я.

— Обрез, — согласился Гуннар. — Серебро стригут тихие люди. С каждой монеты — волосок. С семи монет — напёрсток. С семисот — уже меч. Дай весы.

Мальфрида принесла маленькие весы, те, что держит для соли. Монета потянула меньше, чем положено, на полгроша. Гуннар отложил её в сторону и взял следующую. Полгроша. Ещё полгроша.

— Семь монет, — сказал он наконец. — Три с половиной гроша снятого серебра. Кто-то ходит по волости и стрижёт королевство по волоску.

— А кто?

— Тот, кому нужен вес, а не красота. — Он сгрёб монеты обратно на лавку и брать не стал. — Честное серебро кладут в кошель. Обрезанное кладут на вид. Это не плата, Гоша. Это приманка.

— Для кого?

— Для кузнеца, который хватает, не глядя. — Он посмотрел на меня поверх бороды. — Кузнец, взявший обрез, уже продал своё молчание. А у нас с тобой молчание, кажется, общее.

— Я его не взял.

— Знаю. Поэтому живы.

Мальфрида вышла с половником, посмотрела на монеты, на лавку, на нас двоих, и ушла. Это был её самый веский приговор: когда Мальфрида молчит, значит, спорить не о чем, а будить не надо.

— Пирог с луком, — сказала она в дверях, ни к кому не обращаясь. — На обед. Если доживём до обеда, съедим. Если не доживём, пирог всё равно съедим, просто уже без нас.

У Мальфриды юмор похож на камин: рядом с ним тепло, но близко не стой.

Копейка пришёл, пока мы ещё сидели над монетами. Толстый, запыхавшийся, с пустым мешком.

— Гуннар, — сказал он с порога, — дай овса в долг.

— Ты позавчера взял в долг, — сказала Мальфрида, не поворачиваясь.

— Я помню. Поэтому и прихожу, пока дают. У кого в долг, тому и надо ходить, пока не перестали. — Копейка вытер пот со лба рукавом. — Вертун плохо ест. Когда конь плохо ест, это либо червь, либо тоска. У нас в семье от тоски плохо ест тётка Дрофа, но её никто не лечит, потому что дешевле переждать.

— Вертун не тоскует, — сказал я. — Он боится ночного гостя.

Копейка замер с мешком в руках.

— В лоб? Прямо?

— Прямо.

Он вздохнул так, что затеплилась лампа.

— Ладно. Значит, овёс в долг, страх пополам: половина моя, половина Вертунова. Ему побольше, у него зубы, — он порылся в кармане и выложил три сантима. — Это пока. Остальное с Кафедры.

Гуннар отмерил овса и черкнул в угольной книге цифру. Копейка посмотрел на неё с уважением:

— Успею ещё раз в долг взять до Кафедры.

— Не успеешь, — сказала Мальфрида.

— Это почему?

— Потому что я досмотрю.

Копейка вышел умытый поражением. Ему, я заметил, поражения шли: с ними он румянился.

Тимоха появился через час. Аккуратный, как всегда, будто гладил плащ не утюгом, а чужими страхами.

— Новости, — сказал он, сев на лавку боком, как садятся люди, готовые встать. — Писарь наш, из цеха, час до света провёл у отца. В задней горнице. Писал.

— Писать можно и в цехе.

— В цехе пишут под присмотром. А у отца пишут в тишине. — Тимоха поднял палец. — И ещё. Он не просто писал. Он расписывался. Три раза. Три листа, три подписи. Отец видел краем глаза.

— Что за листы?

— Не знаю. Но после этого постоялец успокоился и до света просидел у окна. Смотрел на кузню.

У меня похолодели пятки. У меня пятки всегда узнают раньше головы.

— Смотрел на кузню, — повторил я.

— На кузню, — согласился Тимоха и посмотрел на меня внимательно, как на замок, который сначала посумлеваться надо, а потом вскрыть. — Гоша. Что ты такое видел, чего не должен был?

— Ничего.

— Врёшь.

— Вру, — согласился я. — Но врать я буду сам.

Тимоха усмехнулся:

— Вот это уже по-честному. Ладно. Когда решишь делиться — я рядом. Я всегда рядом. Это моя беда и моя профессия.

— Твоя профессия — трактир.

— Моя профессия — стоять у двери. В трактире это называется «за стойкой», в дружбе — «поддержать». Суть одна.

К обеду пришёл он сам. Писарь цеха — сухой человек с чернильным пальцем и голосом, от которого хочется проверить, всё ли у меня по списку.

— Доброго дня, кузнец. И тебе, мальчик. Ты, я слышал, ночью не спал.

У меня внутри всё сделалось холодным и звенящим, как плохо закалённая полоса.

— Спал, — сказал я.

— Спал? — Писарь поднял бровь. — Собака твоя утром у окна стояла, как на посту. А собаки не встают на пост у спящих.

И тут вступил Гуннар. Спокойно, без спешки, как ставит клеймо:

— Собака у окна стояла, писарь, потому что я ночью ковал. Кую ночами, когда заказ ночной. Ты же порядок знаешь: ночная работа — двойная плата, и я её не люблю. Так что мальчик спал у горна, а я стучал. Звук за три двора слышно, а ты, поди, и за волостью слышишь.

Писарь посмотрел на Гуннара. Гуннар смотрел обратно, и в глазах у него было столько света, сколько не бывает у мирных кузнецов.

— Ночная работа, — сказал писарь наконец. — Да, порядок такой есть. Значит, не спал кузнец, а мальчик спал. — Он улыбнулся сухо. — Запишу в книгу. Ночь у горна, плата двойная. Всё по правилам.

Он ушёл. Дверь за ним закрылась тихо, и это было хуже, чем если бы хлопнула.

— Спасибо, — прошептал я.

— Не благодари, — сказал Гуннар. — Я соврал за тебя. Теперь моя ложь и твоя ложь живут в одном доме. Захочет одна уйти — уйдут обе. — Он повернулся к горну. — И запомни, Гоша: врать писарю можно только всей кузницей. Поодиночке врут те, кого потом находят.

— А если он спросит меня наедине?

— Тогда ты спросишь его про двойную плату. Спрашивающий всегда выглядит глупее, но выигрывает время. Время, Гоша, дороже глупости. Я проверял.

Вечером я пошёл к ручью. Пелагея была там, как я и думал. С берестой.

— Сколько узелков? — спросил я вместо здравствуй.

— Семь ночей, — сказала она. — Но сегодня я не считала.

— Как это — не считала?

— Так. Взяла бересту и не стала трогать. — Она посмотрела на ручей. — Папа говорит: счёт ведёт тот, кто боится потерять. А я не боюсь.

— Врёшь.

— Вру, — сказала она спокойно. — Но узелков всё равно не вяжу. Пусть счёт ведёт бог. Ему виднее, сколько мне положено.

Я хотел сказать что-то умное. И не сказал. Потому что рядом с ней у меня всегда перестаёт работать то, что я называю головой.

— Гоша, — сказала она вдруг. — Если тебе ночью будет страшно — приходи к церкви. Колокол у нас треснутый, но я умею бить в него тихо. Так, что слышишь только ты.

Это была самая странная забота из всех, какие я слышал. И самая лучшая.

— А если мне будет страшно и днём?

— Днём страшно бывает только от голода. Я тебе пирога принесу.

— Ты в курсе, что у нас уже есть пирог?

— Я в курсе, что у нас есть Мальфрида. Это не одно и то же. Мальфридин пирог едят с опаской, мой — с удовольствием.

— Откуда ты знаешь?

— Мальфрида мне сказа. Она единственная, кто разрешает мне на кухню. Ей нравится, что я мешаю молча.

— Мальфрида нравится, когда все молчат.

— Особенно мы с тобой, — сказала Пелагея, и щёки у неё стали как угли в холодном горне.

Ночью я опять не спал. Гуннар меня даже к горну не посылал — сам сказал: «Лежи и слушай». Я лежал и слушал железо. Железо ночью действительно говорит. Оно потрескивает, как старик в холодной горнице, и если слушать долго, начинаешь разбирать: треск лёгкий — остывает ровно, треск с осечкой — в металле порок.

Кусака поднялась у двери. Молча.

Я сел. Гуннар потушил свечу не дуновением, а пальцами, — значит, был готов к плохому.

Мы ждали. Через четверть часа под окном хрустнул снег. Один шаг. Второй. Потом тишина — та особенная тишина, когда человек стоит и слушает, дышит ли в доме кто-то, кого он ищет.

Потом — второй хруст. С другого края. И другой вес: шаг потяжелее, сапог другой.

Кусака вышла на порог и не залаяла. Она молча пошла вдоль стены, и я понял её так: их двое, я иду посмотреть, куда уйдут. Через минуту она вернулась, села у двери и положила мне голову на колени. И вздохнула. Этот вздох я понял так: они ушли, но вернутся. Один — тот самый, в городских сапогах. Второй ей знаком.

— Гуннар, — прошептал я в темноту. — Их было двое.

— Знаю, — сказал он тем же шёпотом. — И знаешь, что хуже всего? Второй здесь уже был. Дом его помнит.

— Как это — дом помнит?

— Порог помнит, кто по нему ходил честно, а кто крадучись. — Он помолчал. — В этом мире подпись ставит тот, кто хочет быть найденным. А крадучись ходят те, кто уже нашёлся — только не хочет, чтобы это заметили.

Сквозняк толкнул ставню, и с улицы донёсся обрывок разговора — два слова, больше ветер не пропустил:

«...не кузнец. Мальчик. Он видел...»

Я не услышал, что он видел. Но это «мальчик» сидело у меня внутри, как заноза под ногтем: маленькая, а достаёт до сердца.

— Они не про тебя, — сказал Гуннар после долгого молчания. Хотя голос у него был такой, что он сам себе не верил.

Я лежал до света и думал о пироге с луком. Потом о том, что в моём мире есть замки на двери, а здесь дверь держат только засов и собака. Потом снова о пироге. Пирог побеждал, но ненадолго.

Утром на пороге я нашёл то, чего вечером не заметил. В снег, у самой ступеньки, кто-то встал и обвёл ногой след — аккуратно, почти любовно. След был свежий. И он был не от городских сапог.

След был от сапога, какие носят в деревне. Нашего покроя. И таких сапог в Колотове я видел две пары: одна — у деда за Грядой.

— Гуннар, — сказал я, показав на снег. — Это чей след?

Гуннар посмотрел долго. Потом взял лопату и засыпал след целиком, вместе с примятой травой.

— Это след снега, — сказал он. — Больше там ничего нет. Копай дрова, Гоша. Сегодня куем много.

Крючок главы: под окном шептались двое, и нужен им был не кузнец — мальчик, который видел черту.

Глава девятая. Сапог на пороге

Утро у кузни началось с того, что Гуннар трижды обошёл дом кругом и на третий раз вернулся молчаливый. Когда гора молчит — жди камнепада.

— Деревенский, — сказал я, сидя на корточках у следа. — Не городской. Носок широкий, каблук стёрт набок, шаг в полтора моих.

— И вглубь, — сказал Гуннар. — Не к окну, а от. Он не подходил. Он уходил. — Гора посмотрела на меня сверху. — Много ты в нашем Колотове знаешь шагов в полтора твоих?

Я знал ровно один. За Грядой, у старика в земляной хате, — такой шаг, что ручей он перешагивает не по броду, а поверху. Но я промолчал. С вчерашнего дня учусь молчать: выходит через раз. В моём мире за пятнадцать секунд молчания ставили пятёрку по поведению, здесь за пятнадцать секунд молчания просто не отрубают голову, и то прогресс.

Кусака сидела возле следа и не лаяла. Она нюхала землю старательно, как нюхают подстилку, на которой сами спали, — со знанием дела.

— Она не лает, — сказал я.

— Вижу.

— Значит...

— Значит, ногу знает. — Гуннар поднялся, и гора зашумела плащом. — От пришлого она лает, ты сам слышал. Стало быть, ночью у твоего окна стоял не пришлый, а свой. И ушёл, не постучав. Вопрос — почему.

Вопрос повис, как дым в кузне: выхода не ищет, ищет где осесть. Осел он на мне.

Тимоха нашёлся раньше полудня, как находится всегда, когда надо, и чуть раньше, когда не надо. Влёт его был из тех, у которых нет ни шагов, ни дыхания, — просто был и есть.

— Уехал, — сказал он вместо здравствуй. — До света, на северную дорогу, верхами, без поклажи. Отец говорит: постоялец платил за трое суток, ночевал одну. Кто платит за трое и ночует одну — тот рассчитывал больше и передумал.

— А писарь?

— А писарь с утра открыл книгу цеха и вычеркнул три строки. — Тимоха оглянулся на кузню и понизил голос до шёпота лютни. — Вычеркнул, Гоша. Не зачеркнул — вычеркнул, начисто, скребком. Что именно — рассмотреть не успел.

— И что это значит?

— Это значит, что в книге было что-то, чего там не должно было быть. Скребком, Гоша. Пером так не выходит.

Пикировка вышла не для меня, а для мира вообще, и я прикрыл ей спину как умел: стоял и кивал с лицом человека, которому всё понятно. В моём мире это называется «прикрыть напарника», и это единственный вид спорта, где я был бы отобран в сборную.

Серебро Гуннар к утру так и не тронул. Оно лежало на лавке под тряпицей, и Мальфрида обходила лавку по широкой дуге, как обходят чужой капкан.

— Гуннар, — спросил я тихо, — а почему не отдать его? Пусть обрезанное. Меньше семи монет — но монеты.

— Потому что к обрезанному серебру есть два пути: вернуть и спрятать. Вернуть — надо знать, кому. Спрятать — надо быть тем, кто решится. — Он глянул на горн. — Я пока ни того, ни другого не знаю. До схода лежит здесь. Сход скажет.

— А если оно ведьмино? — спросил я и сразу пожалел: звук у вопроса вышел жутковатый.

— Серебро не ведьмино, Гоша. Обрезанное. Кто-то срезал краешки со многих монет и свёз их в один кошель. — Гуннар поднял тряпицу и положил обратно. — Срезать — ремесло мелкое и прибыльное. Кошель — уже не ремесло. Кошель — дело.

Пелагея пришла к ручью, когда я таскал воду. Береста в руках, узелки на бересте. Узлов стало меньше: теперь она вязала не каждый день, и это было хуже, чем если бы вязала каждый.

— Ты не спал, — сказала она. Не спросила — сказала. У неё это выходит хуже, чем у деда.

— Спал. У горна.

— У горна не спят. У горна сторожат. — Она помолчала. — Батюшка к обедне велел объявить: наместник ждёт от цеха отчёта до Троицы. Про подковы. Про всех, кто ковал.

— Наместник ждёт отчёта?

— Наместник ждёт отчёта. — Пелагея смотрела на меня поверх бересты. — Если твой мастер ходил по каравану и спрашивал про городские подковы, вопрос уже долетел. Вопросы у нас летают быстрее вестников.

— А если я скажу, что не ходил?

— Тогда я спрошу, почему у тебя дрожат руки.

Руки у меня не дрожали. Но я на них посмотрел — и они задрожали. Так всегда бывает: пока не проверишь, всё держится. В моём мире это называется «сам себя убедил», слово длинное, здесь бы его никто не произнёс, а последствие одно и то же.

— Я не еретик, — сказал я тихо. — Я просто...

— Знаю, что просто. — Она перехватила бересту, узелки шумнули. — Просто и я. До Троицы, Гоша. Дальше просто не будет.

И она пошла к церкви, прямая, как струна, и я смотрел ей в спину и понимал, что струна — это тот инструмент, который звенит, когда по нему бьют.

К обеду я не выдержал. Сказал Гуннару, что иду за хворостом, взял мешок, которого не было нужно, и пошёл за Гряду по следу. Кусака пошла впереди и нюхала воздух спокойно, как ходят по своей улице.

След вёл вдоль Гряды, местами пропадая в талой грязи, два раза выходил на камень, где следам не бывает. Потом Кусака свернула к земляной хате — и села.

Села. Кусака не садится у чужих дверей. Кусака садится у своих, и это я понял за секунду до того, как открылась дверь.

Дед вышел, не дожидаясь стука. От него вообще не скроешься: он слышит не ушами, а землёй.

— За хворостом, — сказал я и показал пустой мешок. — Пришёл за хворостом с пустым мешком. В моей голове это выглядело логично.

— Мешки пустыми не носят, — сказал дед. — Заходи.

В хате пахло дымом, железом и сушёной травой. На стене висели подковы — десятка три, и я поймал себя на том, что ищу глазами восьмое отверстие раньше, чем гляну деду в глаза.

— Садись. Чай не ждал, воду греть — долго. Есть сушёное.

— Не надо, я...

— Сядь, — сказал дед, и я сел. Так сидят не на лавке, а под лавкой.

Кусака легла у его ног и вздохнула. У чужого порога собака так не вздыхает. Так вздыхают дома. Меня обдало, как сквозняком: для Кусаки эта хата — своя.

— Ты ходил по моему следу, — сказал дед без вопроса.

— Я... след шёл за Гряду, и я...

— Хватит. — Дед снял с очага котелок, поставил на подставку. — Спрашивай, раз пришёл. Иначе уйдёшь с пустым мешком.

И я спросил. Не то, что собирался, — сбор в голове перемешался, и вслух вышло то, чего я боялся больше всего:

— Дед. Восьмое отверстие. Кто его заделывает свинцом?

В хате стало тихо. Кусака подняла голову. Дед смотрел на огонь долго — столько я ни на кого вообще не смотрел.

— Свинцом заделывают двое, — сказал он наконец. — Я. И тот, кто у меня учился.

— Ученик?

— Ученик. — Дед пошевелил угли кочергой, коротко, будто ставил точку. — Ученик был хорош. Слишком хорош. Такого ученика надо во время отвешивать по рукам, как гвоздь.

— А где он теперь?

— А где ветер, когда не дует? — Дед глянул на меня исподлобья. — Не там ли, где его ждут подковы?

«Отверстие заделанное честнее рта закрытого», — сказал дед на прощание, и больше о свинце, об ученике и обо всём остальном не проронил ни слова. Сентенция вышла из него сама, без моего согласия, как всё настоящее.

Уязвимость моя случилась раньше, чем я успел её заметить. На прощание дед взял меня за плечо — легко, двумя пальцами, а я вздрогнул, как будто взяли цепью.

— Ты спросил про отверстие не по-мальчишески, — сказал он. — По-мальчишески спрашивают: зачем? Ты спросил: кто. Так спрашивает мастер, у которого пропал товар. — Он отпустил плечо. — Что у тебя пропало, Гоша?

— Ничего, — соврал я.

— Вот и я думаю: ничего, — согласился дед неожиданно легко. — Приходи, когда пропадёт. С пустым мешком.

Обратно я шёл быстрее, чем пришёл, и Кусака не отставала. На броду я напоролся на Копейку, который вёз сено с луга и вёз его не столько телегой, сколько собой: телега катилась, а Копейка отвечал за направление.

— Куда ходил? — спросил он.

— За хворостом.

— За хворостом с пустым мешком? — Копейка посмотрел на мой мешок, потом на меня, и на его лице проступила мысль, как веснушки: редкие, но заметные. — Гоша, ты самый честный лгун из всех, кого я знаю. Ты врёшь так плохо, что сразу видно: ни разу не тренировался.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что. — Он тронул Вертуна вожжой. — Веру в людей надо поддерживать. Меня, например, в жизни никто не подозревал ни в чём умном. Спокойно живу. — Телега качнулась, сено поехало вбок, и Копейка поехал следом за ним, потому что направление он всё-таки обеспечивал.

Вечером Гуннар вынес серебро на лавку и позвал писаря. Писарь пришёл с книгой под мышкой и с лицом, у которого все вопросы уже были съедены.

— Семь монет, — сказал Гуннар. — Обрезанные, недовес по полгроша на каждой. Ночью их принесли ко мне с заказом. Ночью руками я не беру.

Писарь раскрыл книгу, провёл пером по строчкам и на монеты не смотрел. Так смотрят не на монеты — на то, что после монет будет.

— В книге цеха, — сказал он ровно, — ничего об этом заказе нет.

— Так запиши, — сказал Гуннар. — Раз есть заказ, должна быть запись. Кто заказал, что заказал, чем заплатил.

— Не могу, — сказал писарь.

— Не можешь или не должен?

— Не уполномочен, — сказал писарь, и в его голосе на одно слово стало больше власти, чем у писаря бывает.

Гуннар молчал. В тяжёлом молчании он величав, как гора перед сном, которую лучше не будить.

— Тогда серебро до схода лежит у меня, — сказал он наконец. — Опломбировать не просят?

— Не просят, — сказал писарь, закрыл книгу и поклонился так, что я понял: он кланялся не Гуннару. Он кланялся своей книге.

Тимоха притащился в сумерках, тем же влётом, без шагов и без дыхания.

— Слушай, — сказал он. — Писарь сегодня утром вписал в книгу одну строку и весь день по ней хихикал, как будто у него в сапоге сверчок. Я у отца выкрал взгляд. На взгляд не более пяти секунд, больше нельзя: отец считает секунды лучше меня.

— И что в строке?

— Заказ, — сказал Тимоха. — От почтовой дороги. Сто подков. Срочных. К уходу каравана.

— Сто? — Я сел прямо, и лавка скрипнула мне в спину: тоже удивилась. — Караван уходит через три дня. Кто заказывает сто подков за три дня?

— Вот это я и пришёл спросить у тебя, — сказал Тимоха почти скромно. — Ты у нас теперь умный. Тебе и отвечать.

Я не ответил. Я смотрел на серебро под тряпицей и думал: семь обрезанных монет, сто подков, вычеркнутые строки и след от окна к Гряде. В моём мире за такую задачку ставили бы «удовлетворительно с минусом» и просили бы подробности. Здесь за подробности берут серебро, а то и голову.

Кусака легла у двери мордой к порогу и вздохнула. Я перевёл её вздох так: спи, хозяин, я уже знаю, кого ждать, а ты — нет. Собака в этом доме умнее меня, и это давно не новость.

Крючок главы: в книгу цеха вписан заказ на сто срочных подков к уходу каравана — заказ, которого никто не делал и за который уже заплачено серебром с обрезом.

Глава десятая. Сто подков

Утром Гуннар выложил обрезанное серебро на лавку в один ряд, как ложки перед гостиными. Семь монет. Он подносил каждую к свече и смотрел долго, не читая, — читать их было нечем: серебро и есть серебро, только край у каждой кусаный.

— Заказ вписан в книгу цеха, — сказал он. — Значит, вписал его не я. Значит, писал тот, кто имеет право писать в книгу.

— Писарь.

— Писарь пишет чужой рукой, если его попросят. Или если заплатят. — Гуннар сложил монеты обратно в платок. — Отказаться я не могу: подпись стоит, и цех назовёт отказ уклонением от ремесленной подати. Согласиться — буду ковать сто подков за три дня за треть цены. А это не заказ, Гоша. Это петля, в которую просовывают руку, чтобы посмотреть, дёрнешь ли.

— А что будет, если дёрну?

— Тогда петлю затянут. А если не дёрну — всё равно смотрят.

Кусака вздохнула у порога. Я так и понял это: деньги пахнут чужими руками, а не деньгами.

— Тогда зачем ты их взял?

— Я их не взял. Я их укрыл от ветра. Это разное.

По-нашему это называется «увиливать». По-здешнему — «беречь свою шкуру и чужую тоже». Я ещё не решил, какое название честнее.

Писарь пришёл к обеду. Он всегда приходил к обеду — я давно заметил, что официальные люди ходят по чужим домам, когда у хозяев полон рот. С книгою цеха, с пером за ухом, с лицом, у которого ни одна мысль не вышла наружу.

— Заказ на сто подков, — сказал он, водя пальцем по строке. — К уходу каравана. Караван выступает послезавтра.

— Караван собирается в трёх днях пути, — сказал Гуннар.

— Собирался в трёх. Теперь выступает послезавтра. — Писарь посмотрел на него поверх книги. — Сроки изменились. Мир движется, мастер.

— Мир движется, а подкова должна сидеть. Сто подков за три дня куют двенадцать рук. У меня две.

— В книге написано: кузница Колотова. Не кузница Гуннара.

Гуннар молчал. Я смотрел, как у него ходят желваки — как у коня под кожей.

— Будут мне руки, — сказал он наконец. — Условия мои. Первое: половина платы вперёд, серебром полновесным, обрезанное верну. Второе: ковать буду днём и открыто, при сходе. Ночью эта кузня не работает даже за королевское письмо.

Писарь улыбнулся так, как улыбаются не люди, а строки: ровно и вовремя.

— Вперёд не положено. Платится по готовности.

— Тогда и куется по готовности. К свету третьего дня я скажу: готово или нет.

— Это называется неисполнением заказа.

— Это называется «исполнение по правилам цеха». — Гуннар забрал у него книгу и закрыл сам, аккуратно, будто бельё на верёвке. — Правила писали не для тебя одного, писарь.

Писарь ушёл. У порога он обернулся на меня — на секунду, на полсекунды. Между нами, полсекунды — это долго, если оборачиваются так. Так оборачиваются не на мальчика. Так оборачиваются на страницу, которую запомнили, чтобы потом найти.

На сходе Гуннар объявил всё как есть. Сто подков, три дня, плата по книге. Обрезанное серебро он показал людям целиком, как показывают воз.

— За такое серебро я не возьму лишнюю подкову, — сказал он сходу. — Кто хочет работать со мной — работайте за честный счёт: как караван заплатит, тогда и поделю. Кто не хочет — никто не судим.

Мужики переглянулись. В такие минуты в деревне все думают об одном и том же и молчат об этом же самом.

Первым руку поднял Копейка. Он всегда поднимает первым — не потому, что смелый, а потому, что рука у него тяжёлая и сама падает вверх.

— Я за, — сказал он. — Мне всё равно, чьё серебро кусаное. У меня аппетит цельный.

— Ты даже ворованное серебро хочешь съесть? — спросила его мать со скамьи.

— Мам, ну не ворованное же. Кусаное. Это разное. Одно грех, а другое — просто обидно.

Тимоха поднялся со своей скамьи, потянулся, как вытянутый утром хлеб, и сказал негромко:

— Караван выступает послезавтра. Значит, подковы нужны к послезавтра. Значит, кто заказал — знал о сроках раньше нас. А сроки каравана знают трое: писарь, пристав и трактирщик. — Он поклонился. — Мой отец в этом списке третий. Я сказал это вслух сам, и это, между нами, дороже любой верности.

— Не болтай! — рявкнул трактирщик с края схода.

— Я и не болтаю, тятя. Я говорю по очереди.

Гуннар поднял руку — и сход умолк, как умолкает лес, когда ветер ложится.

— Буду ковать при людях, — сказал он. — При людях и сдам. Кто хочет проверить моё серебро — приходите со своими весами.

Первый день кузня работала так, как работает телега с одним колесом.

Я предложил то, что знал из мира: разделить работу. Один тянет болванки из полосы по шаблону. Второй режет. Третий гнёт по оправе. Четвёртый пробивает отверстия. Пятый клепает шипы. И всё — по порядку: одна подкова идёт из рук в руки, как ковш с водой.

— Это называется как? — спросил Гуннар, когда я всё ему выложил.

— Разделением труда. У нас... — я запнулся. — В моём мире так строят корабли.

— Тут строят сараи. — Он посмотрел на полосу железа так, как смотрят на упрямого коня. — Попробуем на сарае. На подковах.

Только сараи не строятся, когда руки не сговорились. К обеду у нас было: двадцать болванок путаных, из них шесть перекошенных, два распухших пальца Копейкиных и один обожжённый у Тимохи. Тимоха обжёгся и не ойкнул — только сморщился, будто съел кислую ягоду. Гордость.

— Плохо? — спросил я у Гуннара.

— Быстро. — Он забрал у меня клещи. — Быстро — это когда порядок. Порядок — это когда никто не торопится.

Он переставил весь станок. Поставил два ящика: в один — готовое, в другой — брак. Копейку — к молоту, Тимоху — к горну, себя — к наковальне, а меня — к счёту: писать на бересте, сколько сделано, сколько браковано.

— Считать надо в пути, а не потом, — сказал он. — Потом — это когда всё кончилось и начинать дорого.

К вечеру первого дня мы сделали тридцать одну подкову. Из них брак — пять. Не блестяще. Но это была уже не телега с одним колесом. Это была телега, у которой три колеса и одно скрипит.

На второй день пришла Пелагея. Она принесла хлеб и слова.

— Наместник едет сюда, — сказала она. — На Троицу. Мой отец получил грамоту. Наместник проверяет то, чего в отчётах не пишут.

— Отчёты и есть то, чего не пишут, — сказал Тимоха, лёжа на дровах с видом человека, который работает лёжа.

— Гоша. — Она смотрела на меня так, как смотрят на икону и на осла разом. — Если наместник увидит в кузне заказ цеха на сто подков, что он спросит?

— Спросит, кому сто подков.

— И что ты ответишь?

— Что заказ есть в книге.

— Книгу он спросит после этого. — Она положила хлеб на лавку и пошла к церкви, и щёки у неё горели, как угли в холодном горне. — Книгу он спросит после, Гоша.

Она ушла. А я остался стоять и понимать, что дочка священника только что объяснила мне то, чего я сам не понял, хотя умнее её по книжкам ровно на семьсот лет.

А на второй день случилось и то, за что я платил по-настоящему.

Полосу для болванок брали со склада цеха — Гуннар сказал: своё на такое не оскудеем. Я считал заготовки на бересте и сбился на двадцатой. Пришлось считать заново. Потом ещё раз. Потом Гуннар забрал у меня бересту и посчитал сам: по моему счёту выходило, что я порезал на болванки полторы полосы, а полосы было две. Я запутался, и четыре болванки пошли не по калибру — тоньше в хвосте.

— Такие на конском копыте треснут, — сказал Гуннар. Он не кричал. Гуннар не кричит, как гром не кричит — он просто гремит. — Четыре полосы железа в брак. Шесть грошей. Запишем в твой долг.

— Они же не мои... я же считал...

— Считать — тоже работа, Гоша. — Он вложил мне в руку клещи, горячие от чужого железа, и я не сразу понял, что обжёгся: боль пришла позже страха. — Ты мерил потом. Потом — это когда начинать дорого.

Я до третьего дня выправлял те болванки, которые можно было выправить, и две выправил, а две пошли в брак. Руку перевязал ночью, тайно, и Мальфрида, конечно, увидела. Она ничего не сказала. Она положила мне на стол мочёную бруснику, и это был её приговор и её прощение разом. Между нами, мочёная брусника — валюта, которую я готов принимать бесконечно.

А про склад я не спал всю ночь на третий день.

Среди новых полос там лежали две старые, тёмные, с клеймом на торце. Косая черта. Такая же, как на подкове ночного гостя. Такая же, как у деда за Грядой.

— Гуннар. Это железо чьё?

— Наше, — сказал он, не оборачиваясь. — Склад цеха.

— А цех из какой волости берёт?

— Из своей.

— А если это железо не из нашей волости?

Он повернулся. Он смотрел на клеймо так долго, что свеча успела дважды наплывать воском.

— Это железо ковал мастер, которого я знал, — сказал он тихо. — Давно. До тебя. И оно не могло прийти сюда само. Железо не ходит. Его носят люди.

— Кто его принёс?

— Тот, кто имеет право ходить на склад цеха. — Гуннар забрал полосу у меня из рук и положил в дальний угол, торцом к стене. — Не спрашивай, Гоша. Не потому, что не хочу сказать. Потому что, скажу я — и тебе придётся знать то, за что платят жизнью. А ты пока что платишь только грошами.

Тимоха пришёл на рассвете третьего дня — с тёмным, как всегда, и с пирогом, как всегда чужим.

— Постоялец уехал на рассвете, — сказал он, жуя. — Но письмо оставил. Писарь читал его у трактирщика два раза, а после письма раз десять перечитал запись о заказе. По-моему, он искал в книге не слово «сто», а своё имя.

— А нашёл?

— Не знаю. Но когда уходил, он был серый, как осеннее ведро. — Тимоха обтёр пальцы о штаны. — И ещё. Между нами: мой отец говорит, караван будет стоять у города не послезавтра, а через месяц. Это слух. Но слух — это то, что шепчут правду так, чтобы можно было её не услышать.

К третьему вечеру у нас было готово сто подков. Сто — я считал сам, на бересте, двумя столбцами, как учили в школе, и уже в третий раз.

Их сложили в два ящика: пятьдесят и пятьдесят. Гуннар забивал крышки гвоздями — мелкими, из своей партии. И вот тут Кусака сделала то, чего не делала никогда.

Она встала над ящиком. Не легла, не села — встала, всеми четырьмя лапами, и смотрела на ящик. И не двигалась.

— Что с ней? — спросил Копейка.

— Она на что-то смотрит, — сказал я. — Кусака не смотрит на пустоту. Она смотрит на то, чего не должно быть.

Гуннар сорвал крышку. Мы пересчитали. Сто одна.

Одна лишняя. Старая, стёртая о дорогу, тёмная от тысяч копыт. И в одном из отверстий — свинец. Заделанный. Свежий свинец в старой подкове.

— Кто принёс? — спросил я.

— Кто-то, кто был в кузне, когда мы ковали, — сказал Гуннар. — Или раньше. Или ночью. — Он поднял подкову и повесил на гвоздь над горном, по-хозяйски, как вешают уздечку. — Караван уходит через месяц. Подковы готовы. А это... — он кивнул на лишнюю подкову, — это нам оставил гость, который не считает нужным постучать. Он сказал железом: я здесь. И я знаю про вас всё.

Я смотрел на заделанное отверстие и думал о том, что у деда за Грядой есть ученик. И что ученик этот, кажется, приходит теперь на крыльцо нашей кузни, когда все спят, и подкладывает нам подарки, от которых не спят.

Между нами, дед знал про меня больше, чем сказал. А его ученик, выходит, знает больше, чем дед. Это уже не вилка, это вилы.

А утром я пойду к деду. И на этот раз не совру.

Глава одиннадцатая. Дед и свинец

Утром Гуннар положил на лавку свинцовую пробку — ту самую, что я выковырял из лишней подковы. Он так и сказал: подкову цеху, свинец деду.

— Иди за Гряду, — сказал он. — Скажи деду всё. Целиком. Не соврёшь дважды, если один раз сказал правду.

— А если он за меня возьмётся?

— Он старше меня. У старших руку тяжёлая и память короткая на зло. Иди.

— А Мальфрида?

— Мальфрида напекла тебе в дорогу. Между нами: она злится сильнее, когда кормит.

Мальфрида молча сунула мне узелок. В узелке были ватрушки с творогом, и это был второй её приговор: когда Мальфрида кормит ватрушками, значит, бить не будет, но разговор в доме ещё не кончился.

Кусака встала раньше меня и шла к двери, оглядываясь. Гуннар кивнул на неё:

— Возьми. За Грядой тебя кто-то должен охранять от самого себя.

На выезде догнал нас Копейка с Вертуном. Вертун шёл весело и таскал губами полы Копейкиной рубахи, а Копейка таскал Веруна за уздечку — так и шли, круговая порука.

— Куда это вы по-пацаньи собрались? — спросил Копейка.

— По делам Гуннара.

— По делам Гуннара — это значит тайна. — Он вздохнул и сунул мне за пазуху ломоть хлеба. — Держи. Тайну с пустым брюхом носить тяжелее. Я проверял: и с пустым, и с полным. С полным лучше.

Вертун ткнулся носом мне в карман, нашёл вторую ватрушку и уехал с Копейкой, посматривая на нас через плечо. Конь понимал больше хозяина — и не говорил ничего, умный.

У поворота к ручью стояла Пелагея. Со свечами, но не к церкви — свечи она вынесла сушить на перила мостков.

— Дед вчера к ручью приходил, — сказала она тихо. — Мыл руки до локтя. Руки чёрные были. Он по ночам, Гоша. По ночам и чёрными руками.

— Может, уголь мешал.

— Уголь с рук смывается. — Она смотрела мимо меня, на тропу. — Свинец не смывается. Он в мякоть входит, мне отец рассказывал.

Я хотел сказать ей что-то умное и тёплое, а сказал то, что было:

— Ты считаешь ночи?

— Я перестала считать. — Она собрала свечи. — Считать стало страшно, Гоша. Считают только то, что кончается.

И ушла к церкви, и щёки у неё горели, как угли в горне, только в горне угли горячие, а мне от её щёк было холодно.

Хата деда стояла за Грядой вся в солнце, и солнце её не грело, а просто висело. Дед сидел у двора и тёс лучину. Он не повернулся, когда мы вышли на тропу, — он услышал нас ещё за оврагом.

— Стучаться не будешь, — сказал он. — У меня в заборе дыра, куда собака ходит. И люди ходят, которым сказать нечего, а послушать надо.

Я вынул свинцовую пробку и положил на пень. Кусака легла у пня и положила голову на лапы: я здесь, слушай.

— Это из подковы, — сказал я. — Сто подков цех выковал к каравану. Сто одна нашлась. В восьмом отверстии свинец, свежий. Дед, я не знаю, кто. И я не совру, что не знаю, — я дважды не умею.

Дед взял пробку, поднял её к солнцу и долго держал, как держат птенца — чтобы не уронить и чтобы не выпорхнул.

— Садись, — сказал он наконец. — Расскажешь всё. С того места, где ночь была.

Я рассказал. Про гостя с обрезанным серебром, про писаря, про то, как я спросил вслух про дырку, про след под окном, про сто подков. Дед слушал, не перебивая, и лучину тёс, и лучина тёрлась тоньше и тоньше — я видел, что он слушает по лучине, а не по лицу.

— Ученик у меня был, — сказал дед. — Один. Раз больше не надо было.

— И он?

— Он ушёл. Спросил у меня про восьмое отверстие, я ему сказал: не для того, чтобы ковать. Он сказал: для того, чтобы ковать, и ушёл. Мастер учит, а зачем уходит — не спрашивает. Спрашивать поздно, когда уходит.

— Дед, а свинец?

Дед положил пробку на угли, которые тлели в жестянке. Свинец не загорелся, потёк и почернел, и по краю потёка выступила светлая слеза.

— Видишь светлую слезу? Это олово. Я свой свинец оловом гашу — на десятую долю. Так свинец ложится ровно и держит, а не то ползёт в жару. У этой пробки гаша нет. Чистый свинец. — Он смахнул пепел. — Не моя работа, Гоша. Рука ученика.

— А черта?

— У меня черта ведёт к пятке. У него — к носку. Как ложилась рука, так и лежит железо. — Дед впервые повернулся ко мне. — Свинец не врёт, Гоша. Как лил, так и лёг. Человек врёт, свинец — никогда.

Я кивнул и сделал самую глупую вещь на свете. Мне стало легко, потому что всё сошлось, а когда мне легко, я открываю рот.

— Понятно. В моём мире на свинце тоже пометки ставят, только иначе: клеймят номер и пробу, и…

Я заткнулся. Дед уже смотрел на меня, и смотрел так, как смотрят на лестницу, по которой кто-то идёт не оттуда.

— В твоём мире, — сказал он ровно.

— Я не то…

— Что заделывают в твоём мире? — Дед поднялся с пня. — Говори, раз начал.

И я сказал правду. Не всю — но больше, чем Гуннару за два месяца. Что у нас все подковы одинаковые и маркированные, что дыры в железе заделывают так же, свинцом, только пробы держит служба, а не мастер. Дед слушал, и лицо у него делалось каменным, как наковальня, на которой долго работали и не отмывали.

— Слушай меня, мальчик, — сказал он, когда я кончил. — Этого больше не говори. Никому. Даже Гуннару. Даже этому писарю, он умнее, чем стучит. У нас за такие слова — колдовство, а колдовство у нас к столбу привязывают. И старухи заживо хоронят, и причт им помогает, и все довольны. Понял?

— Понял.

— Не понял. Но запомнил. — Он сел обратно. — Вот тебе плата за урок. Принесёшь мне соли. Пуда полтора. К Пасхе.

— За соль платят…

— За соль платят, а ты мне за урок платишь солью. Кто спрашивал в этой кузне, тот и платит.

— Я не в кузне спрашивал. Я в вашем дворе.

— Мой двор больше твоей памяти, — сказал дед без злобы. — Считай, что в кузне.

Между нами: я у него полтора пуда соли за собственный рот купил. В моём мире за такие фразы курят в сторонке, а тут платят. Каждый мир берёт за глупость свою цену, и у этого она дешевле, чем у моего, — это его единственный плюс.

— Дед, а сапог, — сказал я напоследок. — Под окном Гуннара ночью стоял деревенский сапог. Кусака знает этот след.

Дед молчал долго. Потом снял свой сапог и поставил носком к солнцу — подошва была чистая, истёртая по каблуку, но свежей грязи на ней не было никакой.

— Мои сапоги за Грядой за месяц не выходили. — Он надел сапог обратно. — И теперь ты знаешь, у кого в Колотове ещё такие. Я ему двадцать лет назад такие же и сказал: носи, раз сапоги, но не носи к тем, кого я выучил ковать. Он услышал тогда половину.

— Он приходил и к вам?

— Приходил. Тоже ночью. Просил старых свинцов — на отливку. Я дал, между нами: я дал. Старый мастер даёт ученику всё, что тот просит, потому что боится, что тот возьмёт сам. — Дед положил лучину. — Иди. И вот что: он придёт к тебе раньше, чем ко мне. Ты свежий. Меня он знает, а тебя — нет. Тем и возьмёт, что ты не знаешь, чего от него ждать.

Обратно мы шли молча, и Кусака шла первой. У оврага она встала как вкопанная и подняла морду в ветер. Потом потянула носом воздух в сторону деревни и вздохнула: чужой запах — тот самый, что у кузни, — идёт к деревне раньше нас.

— Идёшь, Гоша? — спросил я сам у себя. — Между нами: кузня пустая с самого утра, Гуннар на сходе, Мальфрида на дворе. Пустая — весь день.

В кузню я вбежал раньше, чем додумал мысль. Тимоха ждал на пороге и был бледный, как наш лучший чугун.

— Постоялец снялся до света и уехал с караваном, — сказал он. — Писарь остался. И в книге цеха за ночь появилась запись: ремонт ста подков каравана в обратный путь. Гоша, эти подковы уедут.

— Я знаю, что подковы…

— Не в этом дело. — Тимоха втащил меня за рукав внутрь. — Мальфрида нашла у горна, на лежанке, ещё две подковы. Не лишние. Такие же, как у каравана, со свинцом.

Я подошёл к горну. На лежанке лежали две подковы, и свинец в отверстиях блестел, как всегда блестит свинец, который остывал час-два назад.

Тёплый. До сих пор тёплый.

Кто-то ковал и заделывал свинцом в нашей кузне — ночью, при нас, у нас за спиной, — и ушёл до света, сняв с себя всё, кроме запаха.

Крючок главы: свинец в найденных подковах был ещё тёплый.

Глава двенадцатая. Сход

Утром Гуннар положил обе подковы на лавку и смотрел на них, как на чужих детей, подброшенных в поленницу.

— Не гость, — сказал он наконец. — Гость стучит. Этот вошёл и вышел.

— Может, Копейка? У него молоток есть.

— У Копейки молоток есть, а глаз нет. Будь это Копейка, он бы половину свинца лил на себя. — Гуннар повернул подкову к свету. — Смотри. Дед свинец к пятке лил. Этот — к носку. И молоток ложился, где ложу я. Чужая рука не работает по чужой памяти. Это наши руки, которые помнят. Только чьи — не наши.

Кусака обошла лавку, понюхала подковы и отошла. Отойти — это у неё не «неинтересно». Это «не своё».

Тимоха влетел до света, с лицом холодным, как колодезный край.

— Отец утром топку чистил. В золе уголки. — Он положил на стол обгорелый треугольник бумаги. — Три листа, что писарь подписывал. Жёг. Один уголок уцелел.

На уголке читалась половина слова: «подк».

— Подкова, — сказал я.

— Или подпись, — сказал Тимоха. — Или подк… что угодно. Отец не жёг. Отец подкидывал дрова, а писарь сунул свои бумаги в топку, чтобы не разлетелись. Отец видел. Отец теперь думает.

— Думает, что?

— Что он впустил в дом человека, который жжёт чужие листы в чужой печке. — Тимоха улыбнулся без веселья. — Между нами: отец страшнее, когда думает, чем когда орёт. Орущего я слышу за три двора. Думающего — не слышу вообще, и это пугает.

Мальфрида вышла с заслонкой в руке и без прелюдий:

— Серебро неси на сход. Чужое серебро в доме — это когда потом никто не верит даже в твою собственную ложку.

— Сход вечером, — сказал Гуннар.

— Сход сейчас, — сказала Мальфрида. — Пока монеты тёплые от моей печки. Холодными их кто-нибудь другой нагреет.

Гуннар кивнул. Я в который раз заметил, что он обдумывает всё раньше меня и молчит об этом дольше меня. Между нами говоря, это не воспитание. Это выносливость.

Сход собрали на выгоне у колодца. Собралось, по-моему, все сорок дворов, хотя староста Демид кланялся каждому, кто шёл мимо, и мы потому считали не людей, а поклоны. Пелагея стояла с отцом. Священник смотрел на меня так, как смотрят на гвоздь, который вылезет из доски не там, где надо, — не со злостью, а с расчётом на молоток.

Писарь цеха стоял с книгой и палочкой наготове. Палочку он держал, как я держу ложку, — с намерением.

Дед пришёл. Дед, которого в деревне не видали девять лет, стоял у края круга, прислонившись к иве, и деревня шушукалась так, что шушуканье было слышно лучше колодезного журавля.

Гуннар вынул семь обрезанных монет и выложил на колодезный сруб.

— Это найдено у меня. Ночью, в кузне, где я работаю и где спит мой ученик. Обрезаны. Недовес с каждой — полгроша.

Загудели. Демид поднял руки, и гул стал вежливее, но не тише.

Писарь раскрыл книгу:

— Заказ на сто подков оплачен. Стало быть, серебро принадлежит цеху, и запись это подтверждает. Мастер Гуннар серебро не сдал. Записываю.

— Записывай, — сказал Гуннар. — И запиши ещё, что серебро обрезано. Подать с обрезанного не берут, а наместник при Троице приедет. Ему и запишешь.

Писарь не дёрнулся, но палочку в пальцах перехватил. Так перехватывают нож.

— Серебро платное, работа оплаченная, — сказал он громко, для всех. — Спорить с книгой — спорить с цехом.

— С книгой не спорю, — сказал Гуннар. — Спорю с рукой, которая её писала.

Тут загудело так, что Демид дважды запросил тишины. Гудели и про то, что кузня проклята, и про то, что свинец нечистый, и про то, кто вообще ковал лишнюю подкову. Я почувствовал, как круг перестаёт быть сходом и делается толпой. Толпа — это сход, у которого отняли стыд.

Гуннар встал. Встал не быстро, как встаёт гора, когда с неё начинают снимать камень.

— Плохой порядок лучше доброй смуты, — сказал он. — Примиряйтесь с порядком. Серебро — в ларец, кузню — сторожить, а свинец покажем наместнику. У начальственного глаза длинные, им видней.

И сход примолк. Не потому, что согласился, а потому, что гора сказала, куда камень класть.

Решили так: монеты — в церковный ларец до приезда наместника, под два ключа. Один у старосты, второй у отца Пелагеи. Писарь открывал было рот про третий ключ, но священник посмотрел на него, и рот закрылся сам.

Демид всё-таки спросил про хозяйственное:

— А чем заказ закроем, если серебро в ларец уйдёт? Подать не подать, заказ не заказ.

— Записью, — сказал писарь.

— Записью сыт конь, а не двор, — сказал Демид, но спорить не стал. Демид спорит только с теми, кто не умеет кланяться.

А потом писарь повернулся ко мне.

— А ты, подмастерье. По памяти ты мне вчера говорил, что спал. Кто же в кузне был?

Сорок дворов повернули головы. У Копейки в животе заурчало — громко, на всю выгону, и Демид спросил: «Кто ревёт?» И это, между нами, спасло меня на полсекунды.

— Спал, — сказал я. — Потом был. Между этим было.

Сход засмеялся. Кривая логика — вещь народная, её любят. Писарь не засмеялся. Он открыл книгу и записал что-то, глядя на меня, и я прочитал его палочку в воздухе: «свидетель путается».

Слово «свидетель» он произнёс вслух. Слово «путается» оставил в книге, но я его всё равно увидел — по тому, как он обвёл строку.

Мне стало стыдно по-настоящему, не по-школьному. Пелагея смотрела на меня поверх отцовского плеча, и в глазах у неё было не «Гоша, какой ты смешной», а «Гоша, что ты делаешь».

Решили и про караул: до Троицы кузню сторожить по ночам. Сторожат Гуннар и я. Вменено, без платы. Писарь так и записал: «вменено». Вменено — это когда работа есть, а денег нет, и всё законно.

Сход расходился. Демид кланялся, священник нёс ларец, как несут не деньги, а причастие. Пелагея подбежала ко мне на полшага — ровно на полшага, дальше нельзя было при отце.

— Держи. — Она завязала на моём запястье узкую тесёмку с одним узелком. — Это не счёт. Это чтобы не потерялся. Ночью теряются.

— Я не собака.

— Собаки теряются чаще, у них поводок длиннее. — И ушла на зов отца, и щёки у неё горели так, что я понял: тесёмка ей самой дороже, чем мне.

Дед отошёл от ивы и молча повёл меня за угол, к стене погоста.

— Проба, — сказал он негромко. — Ты сказал «на пробу».

— Перепутал. У нас… в Колотове так говорят.

— В Колотове так не говорят. Я здешний, Гоша, я здешнее колодца. Слово не наше. Его мне сказал один человек — тот, который учил меня свинец гасить. — Дед посмотрел на меня из-под брови. — Откуда оно у тебя?

— Я книжное. Прочитал.

— Книг у нас две. Псалтырь у попа и книга цеха. В псалтыри нет — я знаю наизусть. В книге цеха — долги. — Он помолчал. — Ты нынче второй раз врёшь неумело. Первый раз — писарю. Я тоже слышал, у меня уши здешние.

— Я не могу рассказать.

— Могу и не прошу. Прошу рук. В воскресенье — ко мне, горна подержишь, за молчание. Соль остаётся за тобой, воскресенье — сверху. — Он постоял и добавил уже проще, по-дедовски: — И это слово при людях больше не говори. Согнёшь гвоздь — он унесёт след в другую сторону.

Он ушёл к иве, и деревня расступилась перед ним так, как расступаются не перед стариком, а перед старым гвоздём: боятся задеть.

Вечером я таскал воду для завтрашних подков и высчитал, что мне теперь нужно два сна: один за караул, один за вранье. Спать оба в одну ночь не выходит, я пробовал. Между нами, в такую ночь даже пирог не помогает, а Мальфрида как раз испек пирог с луком и молча отрезала мне третий кусок. Это был её способ сказать «живи до Троицы».

Копейка прискакал на закате. Влетел на выгон верхом, без шапки, и бледный был так, что веснушки казались наклеенными.

— Гоша. Вертун.

— Что Вертун?

— Вертун пришёл с выгона перекованный.

Мы пошли к конюшне. Старую подкову сняли аккуратно: ни шипа не содрали, ни ржавчины не расковыряли. На правой передней стояла новая. Черта — к носку. В восьмом отверстии — свежий свинец, царапается ногтем.

— Это из наших ста, — сказал Копейка. — Сто первая. Та лишняя.

Я побежал в кузню. Лишняя подкова стояла на ящике, где стояла. Я уже открыл рот, чтобы сказать Копейке, что он дурачок, — и увидел: под подковой на ящике лежала монета. Обрезанная. Одна, новенькая, блестящая свежим обрезом.

Кто-то взял из наших рук подкову, перековал ею коня и заплатил. Как будто это ремесло. Как будто нам меняют железо на серебро по курсу, которого никто не назначал.

Кусака подошла к копыту Вертуна, понюхала новую подкову и отошла. Потом села — спиной к нам. Сесть спиной — это у неё «дальше я не иду».

— Она считает, — сказал Копейка.

— Она знает, — сказал я. — А считать — это мы.

Глава тринадцатая. Обрез и один воскресный день

Обрезанную монету Гуннар положил на наковальню и смотрел на неё так, как смотрят на гостя, который ест и не платит.

«Так, — сказал он. — Серебро из того же кошеля, что и семь в ларце. Обрез тот же: срезан по краю, а не откушен. Откушенное грызут мыши. Обрезанное режут люди с ножницами и терпением».

«Сколько сняли?»

«Полгроша. — Он повертел монету. — На монете в десять сантимов весу было на десять с половиной. Кто-то потратил терпение на полгроша. Это не жадность. Это порядок».

«Какой порядок?»

«Воровский. Грабитель снимает, сколько лезет. Счетовод снимает, сколько договорились. — Гуннар посмотрел на меня. — У нас в деревне договорились бы на медяк. А тут договорились на полгроша. Городской уговор».

Кусака села у лавки и посмотрела на монету так, как смотрят на кость, у которой уже был хозяин.

«Она из-под Вертуна, — сказала Кусака. — Пахнет конём и чужим двором».

Я перевёл. Гуннар кивнул:

«Значит, так: подкову сняли с Вертуна ночью не мы. Поставили не мы. А деньги за работу положили в ящик. По-нашему это называется „честный вор“. По-городскому — „покупатель“».

«И что делаем?»

«Снимаем подкову днём и на виду. То, что ставили тайно, снимают при свидетелях — иначе решат, что ставили мы».

Утром Копейка привёл Вертуна. Кусака шла следом, как приставленный к делу пристав.

«Значит, моя лошадь теперь ночная? — спросил Копейка. — Как луна. Заходит и перековывается».

«Не шути».

«Я не шучу. Я боюсь и прикрываюсь шуткой. Это разные вещи, но лицо одно».

Гуннар поднял ногу Вертуну. Подкова сошла легко — слишком легко, её заклёпали наспех. Свинец в заделанном отверстии блестел на срезе, свежий, как слеза. Черта шла к носку.

«К носку, — сказал Гуннар тихо.»

«А надо к пятке?»

«Надо так, как делал тот, кто ковал. — Он перевернул подкову к свету. — Работа молодая, но рука не дрожит. Гвозди тонкие, городские, идут вдоль. Такие были в обозе».

«В обозе, — сказал я. — Значит…»

«Значит ничего. Железо ходит по рукам, как монета. Важны руки, а руки пока не показали лица».

Копейка держал Вертуна за недоуздок, и Вертун стоял спокойно — спокойнее, чем все мы вместе.

«Он не боится, — заметил Копейка. — Ему, наверное, ставили ласково. С пением».

«Конов не перековывают с пением».

«А как?»

«Молча. Так же, как конюшню не чистят с пением».

«Это ты зря. Я чищу с пением. Вертун подтверждает. — Копейка дёрнул недоуздок, и Вертун кивнул, как будто действительно подтвердил. — Вот».

Тут я сделал глупость. В кузне я делаю глупости спокойно, потому что за спиной Гуннар. А Гуннар был на другом конце двора, и глупость осталась без присмотра.

«Дай я сам, — сказал я. — Подкову-то снять. Пять минут».

«Ты хоть раз снимал?»

«Несложно же. Клещами…»

Клещи у меня были. Ногу Вертуну я поднял — Копейка подсказал, куда толкать, чтобы конь не сел. Дальше я полез рашпилем под подкову: сидела она плотно, и клещи брали плохо. Рашпиль — штука честная, но глупая. Он не знает, где кончается рог и начинается живое.

Вертун дёрнул ногой. Рашпиль процарапал стрелку — неглубоко, но по-настоящему: пошла кровь. Тонкая, тёмная, по серому копыту — как трещина по кафелю в ванной. Только трещина живая.

Всё замолчало. Копейка побелел так, что веснушки остались висеть отдельно, как наклеенные. Вертун поставил ногу и замер. Кусака отвела глаза.

«Она живая? — прошептал Копейка. — Стрелка?»

«Живая. Но я её… это… я…»

Гуннар подошёл без слов. Посмотрел на копыто, на меня, снова на копыто. Молчание у него весило больше крика: с криком хотя бы понятно, где стена.

«Дёготь, — сказал он наконец. — И чистая тряпица».

Я принёс. Гуннар вычистил, смазал, перетянул холщиной. Всё молча. Молчание в кузне работает, как молот: бьёт редко, но насмерть.

«С момента…» — начал Копейка.

«Не сейчас, — сказал Гуннар. — Разговаривать будем, когда кровь перестанет идти. Не когда у тебя перестанет трястись».

Плата вышла такая: целую неделю, до следующего воскресенья, я прихожу в конюшню Копейки до света — убираю, стелю, ношу воду. Копейка сам не встанет: он проспит и своё, и моё. Но договор есть договор.

«А я что буду делать?» — спросил Копейка.

«Спать. Ты в договор не входишь».

«Это нечестно. Это моя лошадь».

«Это твой друг. Друзья в договор не входят. Они и есть договор».

В воскресенье я пришёл к деду за Грядой отрабатывать молчание. Дед сидел у крыльца и строгал палку — просто строгал: палке нужно было стать чуть тоньше, а ему — чуть занятнее.

«Колоть, — сказал он вместо приветствия и показал на поленницу».

Я колол часа два. Потом дед сказал:

«Довольно. Теперь рассказывай».

«Я обещал молчать».

«Про соль — обещал. Соль — это про твой мир. А я про свинец спрашиваю. Свинец — это про мой».

Я подумал. Между нами: дед всегда догадывался раньше, чем я успевал соврать, так что врать ему было как бросать камень в колодец и надеяться, что не всплеснёт.

«С Вертуна сняли подкову, — сказал я. — Чужие люди, ночью. Черта к носку. Свинец свежий, блестит».

Дед положил палку. Молчал так долго, что я успел передумать три раза, кого мне стыднее за: себя или его.

«Блестит, — повторил он. — Мой гашёный стынет матовым, как олово. Негашёный блестит, как ртуть. Он гасить не стал. Или не умеет. Или спешил».

«Ты его знаешь».

«Знаю мальчишку, который уходил из кузни, хлопнув дверью. Мальчишке было двадцать лет, и он знал всё. — Дед посмотрел в сторону Гряды. — Теперь ему столько же лет, сколько мне, а знает всё по-прежнему. Ученик делает всё, как мастер, Гоша. Кроме одного: он хочет успеть раньше, чем научился».

Это была сентенция. Я запомнил её, как запоминают удар.

«Он опасен?»

«Он аккуратен. Аккуратный опаснее злого: злого видно из-за плетня, а аккуратный подстригает траву у самого порога, и никто не слышит ножниц».

«А монета? Обрезанная?»

«Принеси — скажу, чей кошель. По обрезу видно руку. Кто режет в спешке, у того край рваный. У твоей монеты край ровный, как по линейке. Так режет тот, у кого времени больше, чем денег».

Пелагея пришла к деду, пока я таскал вторую воду. Принесла просфору в платке.

«Отец велел передать старому кузнецу, — сказала она деду ровно, как читают записку. — На Троицу наместник приедет не один. С ним будут люди, которые спрашивают. И спросить они хотят не только книгу».

«А что они хотят спросить?»

«Про старые работы. — Она повернулась ко мне, и голос стал не запиской, а живым. — Гоша. Мой отец читает людей, как ты читаешь подковы. Ты ему нравишься. Это плохо?»

«Почему плохо?»

«Потому что моему отцу нравятся только те, кто умеет молчать. А ты вчера молчал так, что тебя было слышно на весь двор».

Она поставила просфору на ступеньку и ушла. Щёки у неё, как всегда, горели. Я смотрел вслед и думал между нами: самое обидное, что я и правда не умею молчать. Я умею молчать только вслух.

Тимоха прибежал под вечер, когда я возвращался. Он бежал так, что плащ летел за ним, как хвост.

«Четверг! — выдохнул он. — Наместник приезжает в четверг, не на Троицу. Раньше. С ним обоз, и в обозе — те самые городские подковы, я слышал, как отец с человеком говорил. И ещё: писарь сегодня трижды запирал книгу цеха. Один раз — не на свой замок».

«Как не на свой?»

«У него один замок на книге, а запер он чужим ключом. Я видел ключ. Медный, с трёхзубой бородкой. Такие у нас только у…»

Он не договорил. Я не спросил, потому что понял: у нас такие ключи только у старосты. Или у священника. У тех, у кого ключ — это не железо, а должность.

Ночью в кузню пришли. Не стучали. Просто Гуннар поднял голову и сказал: «Гоша, вставай».

У телеги у ограды стояли трое. Молчаливые. Один держал фонарь так, чтобы свет не доставал до лиц.

«Сто подков, — сказал первый. — По списку».

«Списка нет», — сказал Гуннар.

«Список у нас. — Первый выложил на телегу серебро. Обрезанное. — Возьми по счёту».

Гуннар взял. Он считал монеты долго, на свету фонаря, каждую пробовал на зуб, и я видел, как он делает вид, что это обычная ночная работа. А не сдача города в плен.

Подковы погрузили. Телега скрипнула и ушла в темноту, к Гряде. Трое пошли пешком, в другую сторону, к большаку.

На телеге остался клочок бумаги. Гуннар поднял его к фонарю. Внизу, вместо подписи, шла косая черта.

«Мастер, — сказал я. — Мы отдали сто подков человеку, которого не знаем, за деньги, которые обрезаны, по списку, которого не видели».

«Да».

«И это законно?»

«Законно. Здесь всё законно. — Гуннар свернул клочок и убрал за пазуху. — Закон — это как подкова: прилажен так, чтобы конь шёл. А не чтобы человек понимал».

Кусака посмотрела вслед телеге и зевнула — не от сна, а оттого что зубы ей нужны для другого.

«Телега пойдёт к Гряде, — сказала Кусака. — А вернётся пустой. С пустыми телегами я знакома».

Глава четырнадцатая. Пустая телега, четверг и люди, которые спрашивают

Телега вернулась за день до четверга. Пустая.

Я узнал об этом по Кусаке. Она не вбежала во двор, как всегда, а обошла двор кругом, легла у ворот и положила морду на лапы — по направлению к дороге. Так она делает, когда по дороге должны ехать, а не едут.

— Гуннар! — заорал Копейка от моста. — Твоя телега едет назад! Одна, как вдова на обеде!

Мы вышли. Телега стояла у ручья: солома на дне мятая, стенки голые, оглобли в грязи по ступицу. А в соломе лежала ольховая ветка — свежая, с тремя зелёными листьями. В распутицу на Гряде листьев не бывает: там от них одни черенки. Эта была с листом.

— Кто гнал? — спросил Гуннар.

— Возчик чужой, кони чужие, — сказал Копейка. — Я спросил: откуда? Он ответил: с дальнего двора. Я спросил: что везёшь? Он ответил: ничего. Честный человек. Я бы так не смог — я бы соврал с приплодом.

— Пустая, — сказал я. — Целиком пустая.

— Не целиком, — сказал Гуннар и поднял ветку двумя пальцами. — Телега везёт то, что в неё положат. Кто-то положил.

Листья были свежие, как утром вымытые. Я знал это дерево: ольха у брода за Грядой. Мы с Копейкой ели под ним яблоки — украденные, а значит, купленные у совести дешевле некуда.

Между нами, я сказал «выброси» не потому, что думал так, а потому, что слово «доказательство» у нас в деревне в чести, а до объяснения его ещё доехать надо.

— Выброси, — сказал я.

— Ночью руками не беру, — сказал Гуннар и сунул ветку за голенище. — А сейчас ещё не ночь. Поэтому беру.

Кусака обнюхала дно телеги, потом дорогу, потом снова дно и отошла. Легла у ворот и уставилась в сторону Гряды. Я это прочитал так: телега пахнет как надо, а человек — не как телега. Дальше я не иду. Я на воротах.

Тимоха пришёл к закату — так тихо, что Кусака заметила его раньше меня.

— Писарь выехал навстречу наместнику за три версты, — сказал он без приветствия. — В новом плаще. Книгу несёт, перевязанную шнуром с восковой печатью. Ехал, как на похороны чужой матери.

— С чего ты взял, что он не спал?

— Свет в трактире горел до третьего петуха. — Тимоха оглянулся. — Наши писари по ночам не пишут. Они по ночам списывают. Книгу цеха — начисто. Чтобы получилось два списка: один для схода, другой для наместника. И чтобы они не совпадали.

Между нами, два списка — это уже не книга. Это глаза, причём разные.

— А если спросят, где первая книга?

— Скажут: съели мыши. — Он улыбнулся. — Мыши в этом городе богатые.

— А нас про сто подков?

— Скажешь правду. — Он постучал себя по груди. — Правда — лучший яд. Главное — подавать её в малом количестве.

Мальфрида вечером молчала и пекла. Пирог с луком, а за ним ещё один — с репой. Два пирога в ночь перед наместником — это не пироги, это письмо без слов: «Молчите оба и жуйте».

Я жевал и думал не о наместнике, а о том, что репа в пироге — это её мнение обо мне. Мнение честное, а я его не заслужил.

Утром в четверг мы услышали дорогу раньше, чем увидели. Лошади шли шагом, а кони, которые идут шагом перед чужим двором, идут так, чтобы их было видно красиво.

Сначала конные — четверо. Потом крытая повозка: на дверце был герб, которого я в жизни не видел, но сразу понял, что герб, — его специально нарисовали так, чтобы видеть издалека. Потом вторая повозка, поменьше, с сундуками.

Наместник слез сам, без помощи. Тяжёлый, широкий, лицо усталое — как у человека, который два дня ест чужую еду. Сапоги городские, до колена, блестели так, что в них можно было смотреться вместо воды.

Рядом с ним стоял другой человек. Сухой, узкий, в сером плаще. Руки черные от чернил, а пальцы чистые — у того, кто пишет и считает деньги, но рук не подаёт.

— Писарь наместника, — шепнул Тимоха. — Дьяк. Отец говорил: этот человек умеет из двух слов сделать три долга.

Демид кланялся так низко, что я испугался за его поясницу. Писарь цеха держался за Демида, как за ограду в шторм.

— Книга цеха, — сказал наместник.

Голос у него был бытовой, усталый, без злости. От этого страшнее.

Книгу поднесли. Он листал её долго и с интересом — как мы в школе листали чужой диктант перед контрольной.

— Сто подков, — сказал он наконец. — Заказ от схода. Кто ковал?

— Я и подмастерье, — сказал Гуннар.

— Срок был четыре дня?

— Три.

— Кто платил?

— Расписка. Расчёт серебром. Серебро в церковном ларце, под двумя ключами.

— Чьи ключи?

— Старосты и священника.

Наместник посмотрел на писаря. Писарь сделал лицо, которое в моём мире называют «я тут ни при чём».

— Расписка, — сказал наместник и протянул руку. Ему подали сложенный лист. Он развернул его, посмотрел долго и подал Гуннару.

— Читай.

Гуннар прочёл вслух: «Сто подков приняты, оплата получена». Внизу — не имя, не печать. Одна косая черта, к носку.

— Это кто писал? — спросил наместник.

— Возчик, — сказал Гуннар.

— Возчик. — Наместник посмотрел на черту ещё раз. — Хороший возчик. За распиской не гоняется — расписка сама гонится.

Он повернулся к нам.

— Подмастерье. Выйди.

Я вышел. Кусака пошла за мной и села сбоку — не у моей ноги, а между мной и дьяком. И это я прочитал: я тебя прячу, но лапы у меня короткие.

— Имя?

— Гоша.

— При крещении?

— Георгий.

Между нами, это не было враньём: имя я себе придумал сам в первую неделю, и Мальфрида притащила меня с ним к отцу Вонифатию — заодно с иконами и петухом. Петух при крещении смотрел на меня как соучастник.

— Рука что? — спросил дьяк, не поднимая глаз.

Я забыл про повязку. Она жила на моей кисти четыре дня, и я прятал её под рукав от Мальфриды, как тайну, — а тут она сама вышла навстречу судьбе.

Между нами, повязка была не тайной, а слабостью. А слабости сами находят выход.

— Об клещи.

— Когда?

— Днём.

— Ночью? — повторил дьяк ровно и поднял глаза.

— Клещи не смотрят на часы, — сказал я.

Кто-то из конных хмыкнул. Наместник не хмыкнул. Дьяк достал грифель и дощечку и что-то отметил.

— Ночной труд сверх книги цеха, — сказал он Гуннару тем тоном, каким в моём мире объявляют расписание автобусов. — Сбор два медяка.

Гуннар вынул два медяка и положил их на борт телеги. Без слова. И вот тут я понял, что подвёл его по-настоящему: не глупостью, не смехом — ценой. Каждый мой ночной гвоздь теперь стоил ему медяка, и каждый медяк был записан.

— Кузнец за Грядой, — сказал наместник, пока дьяк писал. — Ковал для схода что-нибудь?

Гуннар помолчал ровно столько, чтобы мы все успели подумать.

— У нас есть кузнец за Грядой?

Писарь полистал книгу и ткнул пальцем:

— Так в книге: мастер за Грядой умер семь лет тому. Дом пуст, огонь не горит.

— Значит, книга ошибается, — сказал Гуннар.

— Книги не ошибаются, — сказал наместник. — Ошибаются те, кто в них не попадает.

Он повернулся ко мне:

— А ты, подмастерье, что у нас видел?

— Телегу.

— Ещё?

— Ветку ольхи.

Он засмеялся — коротко, без веселья, как кашляют взрослые.

— Хорошо. Мне нравятся такие ответы: их дёшево задавать и дорого отвечать.

Копейка стоял в толпе и держал шапку обеими руками, как птицу, которая вот-вот улетит. Рубаха на нём была брата — короткая, и при каждом поклоне ползла вверх, и Копейка каждой ползущей полосе приседал навстречу, чтобы придержать. Староста двинулся было к нему с поклоном, и Копейка выдал:

— Рад стараться!

Староста остановился, потому что ничего не спрашивал. Копейка покраснел до веснушек и ещё раз присел — уже просто так, из солидарности с полосой.

Пелагея вынесла воду наместнику — по приказу отца, кувшином и с поклоном. Мимо меня она прошла так близко, что я услышал:

— Не смотри на меня, когда смотришь на него.

— Я не смотрю.

— Ты смотришь с закрытыми глазами. Это ещё хуже.

И пошла дальше, и щёки у неё были как угли из чужого горна.

Наместник уехал до полудня. Коней не гнал — знал, что за ним смотрят. Уехал не всё: дьяк остался.

— Я останусь до возвращения возчика, — сказал он Демиду. — Мне нужна книга цеха. И ночлег. За счёт схода.

— За счёт схода, — повторил Демид и посмотрел на свои сапоги, как на чужие долги.

Вечером в кузне Гуннар гасил горн, не глядя на меня.

— Ты сегодня мне стоил два медяка.

— Я знаю.

— Дёшево. — Он задул последний угол. — За два медяка я не считаю. Я считаю за то, что дьяк теперь знает: ночью у моего горна работают руки. Такие знания он не покупает. Они к нему сами липнут.

— Я не хотел…

— Знаю, что не хотел. Хотеть — это когда выбираешь. — Он повернулся. — Пустая телега громыхает громче гружёной. Не потому, что пустая. Потому что в ней нечего увязать.

Я кивнул, потому что возразить было нечем, а вообще — потому что он смотрел.

— И ещё, — сказал Гуннар. — Пока не научишься молчать руками — в кузню без меня. Ночь моя. Дни мои. Твои — с метлой.

Это было хуже, чем два медяка. Два медяка можно заработать. Метлу нельзя.

Ночью я лежал у горна и смотрел в окно, которое сам приоткрыл, чтобы дышать. У трактира горела свеча — не в окне, а на подоконнике. Через минуту в окне напротив, у сапожника, ответила вторая. Так горели. Так гасли. Вторая, третья, снова вторая.

Я смотрел и вспоминал, как дед говорил: огонь — письмо для того, кто умеет читать. Тогда я думал, что это про горн. Оказалось — про окно.

Кусака лежала у двери и молчала. Молчание у неё тоже было письмо, и я его умел читать: «Я здесь. Тебя не тронут до света».

Утром дьяк пришёл в кузню.

— Инструмент посмотрю, — сказал он. — Наместник любит порядок в инструментах.

Гуннар позволил. Дьяк смотрел молотки, клещи, напильник — так, как мы в школе смотрели чужие тетради: не читая, а ища ошибки. И когда он тянулся за напильником, рукав у него сполз, и я увидел его запястья.

Руки были чернильные. А на запястьях — старые кузнечные пятна. Такие пятна остаются от брызг, которых никто не умеет отменить. У писарей их не бывает. У писарей бывают мозоли от пера, и только.

Дьяк поймал мой взгляд. Спокойно опустил рукав и сказал:

— Хорошо тут у вас. Тихо.

— Днём тихо, — сказал Гуннар.

— А ночью?

— Ночью метут, — сказал Гуннар.

Дьяк кивнул, как человек, который записал и это, и ушёл. Сапоги скрипели, как несмазанная телега. Сапоги он носил городские. Между нами, пятна на запястьях не из города.

Я сидел у горна и думал о пироге с репой, потому что в пироге нет вопросов. А потом подумал: у человека с чернильными руками — кузнечные пятна. Писарь списывает книгу по ночам. Мастер за Грядой по книге умер семь лет назад — а ветку ольхи в пустую телегу кто-то положил.

Все эти три вещи я разложил на лавке, как гвозди по размеру. И пока раскладывал, понял, что дорога у них одна. Только куда она ведёт, не знал ни я, ни Кусака. Она хотя бы спала спокойно.

Глава пятнадцатая. Огонь на Гряде

Дьяк в деревне задержался. Возчик не вернулся, а без возчика, объяснил дьяк, у него и обязанностей нет. Он поселился на постоялом дворе, завёл тетрадь в чёрной коже и каждое утро, после литургии, ходил вдоль кузни, как по своей епархии.

В первый день он читал книгу цеха. Гуннар разложил её перед ним на столе, сел напротив и молчал. Я грубил щипцам — перекладывал уголь с места на место, чтобы выглядеть занятым.

— Здесь записано, — сказал дьяк, водя пальцем по строке, — сто подков, сданных возчику. Кто ставил запись?

— Писарь цеха, — сказал Гуннар.

— Писарь пишет. А плату кто принимал?

— Плату не принимал. Плату везут при возвращении.

— Как это?

— Так у нас в волости, — сказал Гуннар. — Заказ записывают, плату приносят. Не приносят — запись остаётся.

Дьяк постучал ногтем по странице.

— В прежних записях плату принимали в тот же день.

— В прежних заказах заказчик не уезжал, — сказал Гуннар.

Дьяк поднял на него глаза. У него был взгляд человека, который скучает на службе и не скучает больше нигде.

— Кузнец. Ты говоришь аккуратно, как калека ходит: тоже аккуратно, но видно, чего избегаешь.

Я втянул голову в плечи. Гуннар не шелохнулся.

— Я говорю, как знаю, — сказал он.

— Хорошо. Тогда я запишу, как слышу. — Дьяк закрыл книгу и придвинул к себе. — Заберу её до возвращения возчика.

— Книга — собственность цеха, — сказал Гуннар.

— Свидетельство о платеже — забота церкви, — ответил дьяк и унёс книгу под мышкой. Мальфрида потом три дня пересаливала в каше. Злость её я узнаю по соли: злит — солит, очень злится — не солит вовсе.

Копейка пришёл к полудню с лукошком яиц — это он мне, а не дьяку, и сказал это в лицо дьяку.

— Яйца не для вас, — сказал он. — Яйца для кузнеца. У вас должность, у меня куры.

Дьяк поднял бровь. Копейка покраснел, как борщ, но не отступил. Между нами говоря, я в этот момент гордился Копейкой сильнее, чем гордился когда-нибудь собой.

— У тебя куры во множественном числе, — сказал дьяк.

— А у вас тетради, — сказал Копейка. — Тоже во множественном.

Дьяк моргнул и ушёл. Тимоха, который слышал это из-за угла, сказал потом: «Копейка, ты сейчас сказал умнее, чем собирался». Копейка ответил: «Я всегда так делаю. Просто не всегда получается».

Тимоха сел на чурбак и заговорил тише:

— У дьяка две тетради. Одна чёрная, для господ. Вторая серая, самодельная, из обёрточной бумаги. В чёрную он пишет при всех. В серую — когда думает, что никто не смотрит.

— Ты читал?

— Я подносил ему обед. Три раза. Я умею подносить обед так, что никто не замечает, как я при этом стою. — Он поёрзал. — В серой тетради он чертит. Гоша. Он чертит подкову. С восемью отверстиями.

У меня потемнело в глазах, и я схватился за наковальню, как за стол на качелях.

— Откуда он знает про восемь?

— Вот это я и хочу узнать. Отец говорит: спроси прямо. Я говорю отцу: отец, за такие вопросы людей на углях жарят. Отец говорит: а за такие ответы?

Я не ответил. Тимоха кивнул, как будто я ответил, и ушёл по-своему — бесшумно, как кошка, которой шепнула крыша.

К вечеру огонь на Гряде обсуждал каждый второй двор. Он горел в ту ночь и в прошлую: маленький, дрожащий, вроде от свечи. Дед за Грядой огня по ночам не жёг — я знал: в его хате очаг топили только до заката, он по старости боялся заспаться при открытом пламени. Значит, огонь был не дедов.

Я собрался в ночь. Факел не брал — умный. Взял лучину в берестяном чехле, чтобы не светила заранее. Копейка напросился со мной:

— Один я не пойду. А вдвоём это не трусость. Это разведка.

— Логика у тебя, как у телеги: едет, потому что никто не остановил.

— Зато я не падаю. — Он помолчал. — Часто.

Мы шли вдоль ручья, чтобы не оставлять следов на талом снегу. Кусака увязалась и шла впереди, как передовой дозор. У оврага она вдруг замерла и оскалилась — не на нас, налево, туда, где темнота была гуще. Мы замерли. Темнота кашлянула.

— Дед? — позвал я.

— Иди сюда, — отозвался дед. — И громче не топчи.

Мы вышли к нему. Дед сидел на пне у своей хаты и не грелся. Огонь горел за его спиной, в окне хаты, — точнее, не в окне, а в щели ставни, и свет дрожал, как свеча. И рядом с окном, на лавке, через щель, лежала рука. Кузнечная рука, с пятнами по запястью.

— Дед, у тебя кто-то есть?

— Есть. Гость, который не спит и не ест. Он читает моё железо. — Дед повернул голову. — А ты, Гоша, зачем пришёл?

— Огонь увидели.

— Огонь увидели, — повторил дед. — А пришли почему? Потому что боялись, что это я. Скажи уж правду: ты пришёл проверить, не я ли вор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.